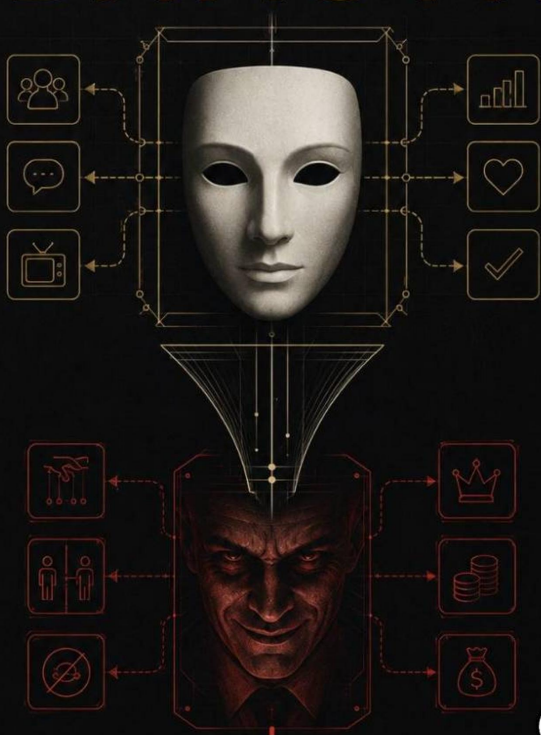


ЕВГЕНИЙ АЛИ

ФИЛЬТР ВЛАСТИ



ФИЛЬТР
ВЛАСТИ



ЕВГЕНИЙ АЛИ

18+

Евгений Али

Фильтр Власти

<https://litres.ru/74415734>

SelfPub; 2026

Аннотация

Почему пилоты проходят сложную медкомиссию перед полетом, а лидеры, управляющие целыми государствами, перед тем, как занять свой пост — нет?

Ответ и прост и сложен одновременно: эволюция тысячелетиями формировала лидеров для выживания в стае. Но стаи давно нет. Есть страны, экономики, ядерное оружие. А критерии отбора остались прежними: харизма, уверенность, готовность идти до конца. Мы голосуем за сильную речь — но часто получаем тех, кто не прошёл бы и собеседование на рядовую должность в обычной корпорации.

Книга не о политике. Это инженерный проект: система фильтров, которая отделяет способных к управлению от тех, кому власть противопоказана. Психология, нейробиология, история — и конкретные инструменты, которые можно внедрить уже сегодня.

Главный вопрос: как распознать деструктивного лидера до того, как он получит власть?

Ответ есть. И он проще, чем вы думаете.

Евгений Али

Фильтр Власти

ФИЛЬТР ВЛАСТИ

Почему мы выбираем психопатов и как это остановить

ТОМ I

ПРОЛОГ: ТЕНЬ НА СТЕНЕ ПЕЩЕРЫ

Представьте авиалайнер. Три сотни пассажиров пристёгнуты ремнями. За бортом — минус пятьдесят. Под крыльями — океан. В кабине пилот. Перед вылетом он прошёл медицинскую комиссию: кардиограмма, анализ крови, тест на алкоголь, проверка зрения, психологическое собеседование. Обнаружат эпилепсию, диабет, даже лёгкое нарушение ве-

стибулярного аппарата — отстранят. Никто не спорит. Никто не возмущается дискриминацией. Мы понимаем: цена ошибки слишком высока.

Теперь представьте другую кабину. Не из алюминия и композитов — из мрамора, дуба и стекла. В ней сидит не пилот, а президент, премьер-министр, глава государства. В его руках не штурвал — ядерный чемоданчик, бюджет страны, право объявлять войну и миловать приговорённых. На его плечах — судьбы миллионов. Его слово меняет границы, экономики, жизни.

Вопрос, с которого начинается эта книга, звучит цинично и просто: почему мы не проверяем его так же тщательно, как пилота? Почему у нас нет обязательного психологического теста на способность к эмпатии, устойчивость к манипуляции, склонность к нарциссизму для того, кто собирается управлять другими людьми? Почему мы довольствуемся парой теледебатов, где побеждает самый громкий, и списком обещаний, которые забудут на следующий день после выборов?

Проблема в том, что мы не проверяем власть, потому что веками нам внушали: власть — таинство. Помазание. Воля богов. Судьба. Харизма. Мы научились бояться некомпетентного пилота. Но мы так и не научились бояться некомпетентного правителя. Точнее, боимся, но уже когда самолёт падает. Когда танки на улицах. Когда инфляция съедает сбережения. Когда ложь становится государственной поли-

тикой. Тогда мы кричим: «Как же так!». Но к тому моменту фильтр уже не работает. Патоген уже в кровотоке.

Эта книга — о том, как построить фильтр. Не после катастрофы. На входе. Я не буду уговаривать вас стать добрее или верить в лучшее будущее. Я буду показывать исследования, истории, психологические профили и архитектуру решений. Мы разберём, почему человечество веками отбирало в правители самых беспощадных, почему мы восхищаемся антигероями и почему школьный учитель с психопатическими наклонностями может натворить не меньше бед, чем диктатор.

Главное — мы спроектируем механизм. Систему проверок, которая не требует революций, не отменяет выборов, не нарушает конституций. Она добавляет один этап между выдвижением кандидата и его приходом к власти. Этап, где эмпатия становится измеримой величиной, а манипуляция — красной карточкой.

Я пишу не философский трактат. Я пишу инженерный проект. Для тех, кто устал ждать чуда и хочет собрать велосипед, который не сломается при первом повороте.

Начнём с начала. С пещеры.

ГЛАВА 1. ВЕЛИКИЙ ФИЛЬТР ПРИРОДЫ ВОЖАК СТАИ И САКРАЛЬНЫЙ МОНАРХ

Сорок тысяч лет назад на равнине, где сейчас плещется Северное море, жила группа людей. Их было около двадцати. Они не знали письменности, не строили городов, не мо-

лились богам в привычном нам смысле. Они знали одно: холод убивает, голод убивает, соседнее племя убивает. Им нужен был тот, кто поведёт их на охоту, кто решит, когда перекочёвывать, кто встанет на пути у пещерного медведя.

Они выбирали вожака не по красоте речи и не по уму. Они выбирали самого сильного, самого быстрого, самого бесстрашного. Того, у кого сердце билось ровнее при виде опасности. Того, кто мог ударить первым. Того, у кого эмпатия выключалась в те самые моменты, когда требовалось убить мамонта или отбить нападение.

Эволюция назвала эту стратегию успешной. В условиях нулевой суммы — выживает один, умирает другой — агрессия, импульсивность, нечувствительность к чужой боли дают преимущество. Психопатические черты в экстремальной среде превращаются не в патологию, а в суперспособность. Жестокий вожак приносит племени мясо и безопасность. Чуткий и рефлексирующий проигрывает конкуренцию и гибнет вместе со своими генами.

Так работал великий фильтр природы. Он отсеивал тех, кто слишком много думал, слишком сильно чувствовал, слишком долго колебался. Оставались те, кто действовал быстро, жёстко и без оглядки.

Этот фильтр не отключился, когда мы перестали быть охотниками-собирателями. Он перестроился.

БОГИ, ЦАРИ И БЫКИ

Пять тысяч лет назад в долине Нила возникло первое го-

сударство. Фараон считался живым богом. Его слово было законом не потому, что его выбрали, а потому, что оно воплощало волю неба. Жрецы придумали ритуал, который делал правителя неприкасаемым. Он больше не был просто сильным мужиком с дубиной. Он стал священной фигурой.

У священной фигуры есть важная психологическая функция — защита. Когда фараон приказывал казнить сотню рабов, никто не говорил: «Какая жестокая личность». Все говорили: «Такова воля богов». Сакрализация власти стала первым в истории системным фильтром, который работал наоборот. Он не отсеивал деструктивных лидеров. Он защищал их от критики.

Та же логика работала в Китае, в Индии, в империи инков. Правитель не просто правил — он был посредником между миром людей и миром духов. Его решения не обсуждались. Обсуждать богов невозможно. Это страшно, это кощунственно, это грозит карой.

Постепенно сложился архетип «хорошего царя». Он не требовал доброты или чуткости. Он требовал силы, способности покарать врагов, не позволить хаосу проникнуть в границы. Народ прощал правителю жестокость, если она была направлена «на благо государства». Кровь врагов считалась оправданием. Кровь собственных подданных — тоже, если они «изменники» или «еретики».

Архетип хорошего царя прочно встроился в культурный код. Мы до сих пор ищем в политиках эту древнюю черту

— способность быть жёстким, когда нужно. Мы называем её «сильной рукой». Говорим: «Он не разменивается по мелочам». И не замечаем, что та же черта в повседневной жизни носит название «психопатия».

МАШИНЫ БЕЗЖАЛОСТНОСТИ

Возьмём Римскую империю. Цивилизация, подарившая миру право, латынь, акведуки, бетон, одновременно ввела в политическую практику систематическое уничтожение политических оппонентов, проскрипции, казни без суда. Сенаторы убивали друг друга, императоры убивали сенаторов, преторианцы убивали императоров.

Почему эта система не рухнула? Потому что убийство стало технологией. Оно перестало быть личной враждой и превратилось в управленческий инструмент. Император, не способный приказать убить, считался слабым. Он не удерживал власть. Выживали те, кто без колебаний подписывал смертные приговоры. Низкая эмпатия становилась конкурентным преимуществом.

То же самое происходило в Китае времён династии Хань. Юридический текст «Книга правителя области Шан» призвал наказывать людей не за то, что они сделали, а за то, что они могли сделать. Опережающее наказание, превентивный террор — такие методы требуют полного отсутствия моральных тормозов.

Инки строили империю в Андах. Их правящий класс говорил: «Мы приносим цивилизацию». На деле они разби-

вали племена, перегоняли население, казнили непокорных. И тоже считали себя благодетелями. Сомнения у них отсутствовали. Сомнения — роскошь для слабаков.

В каждой из этих систем — от египетских фараонов до римских цезарей, от китайских легистов до инкских курака — работает один и тот же механизм. Культура и религия создают идеологическую обёртку для психологической патологии. Жестокость подаётся как долг, бесчувственность — как мудрость, манипуляция — как искусство управления.

РЕЛИГИЯ КАК ОПРАВДАНИЕ

Христианство стало первой серьёзной попыткой сломать эту схему. Иисус говорил: «Блаженны кроткие», «Любите врагов», «Подставь другую щёку». Эти слова бросали прямой вызов древнему архетипу вожака-воина.

Однако церковь очень быстро стала частью системы власти. Крестовые походы, инквизиция, сожжение еретиков — всё это совершалось во имя Христа. Религия сострадания превратилась в религию кары. Здесь работает универсальный закон: институционализированная власть всегда подчиняется логике выживания, а не этике. Идеальный утопический проект при столкновении с реальностью либо погибает, либо перерождается в свою противоположность.

Сам евангельский код — этот удивительный набор идей о том, что слабость сильнее силы, а служение выше господства — не исчез. Он остался в культуре как тихий голос, иногда пробивающийся сквозь шум политической пропаганды. Ко-

гда в XX веке мир пережил чудовищные диктатуры, именно этот голос помогал людям говорить: «Это неправильно». Не потому что неэффективно, а потому что бесчеловечно.

Культура остаётся плохим фильтром. Она медленная, противоречивая, её можно интерпретировать как угодно. Тираны тоже ссылаются на Бога. И на народ. И на историю.

ПОЧЕМУ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЫБИРАТЬ ПСИХОПАТОВ

Мы имеем три слоя проблемы.

Первый — эволюционный. Инстинктивно мы ищем в лидере силу, а не доброту.

Второй — культурный. Веками нам внушали, что жестокость правителя — норма.

Третий — институциональный. Система власти защищает саму себя, отсеивая слишком мягких и пропуская слишком жёстких.

Исследования политической психологии показывают неприятную закономерность. Люди с высокими показателями по шкале «Тёмной триады» — нарциссизм, макиавеллизм, психопатия — не просто чаще стремятся к власти. Они успешнее её добиваются.

Почему? У них отсутствует страх. Их не мучает совесть. Они не тратят энергию на рефлекссию. Они говорят то, что хотят услышать, и делают то, что нужно для победы. Они не умнее и не талантливее других. У них нет тормозов.

В выборах побеждает не тот, кто лучше всех планирует

будущее. В выборах побеждает тот, кто лучше всех продаёт себя сегодня. Нарцисс продаёт себя идеально — он искренне верит, что он лучший. Психопат продаёт себя убедительно — его не сковывает страх провала. Макиавеллист продаёт себя стратегически — он точно знает, кому что пообещать.

Избиратель, уставший от неопределённости, покупает этот образ. Ему нужен кто-то уверенный. Даже если уверенность ложная. Даже если за ней пустота.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОНИМАНИЮ

Чтобы построить фильтр, мы должны перестать удивляться и начать анализировать. Перестать говорить: «Какой ужасный политик!» и начать говорить: «Какая система отбора позволяет таким людям проходить наверх?»

Мы не сможем отменить эволюцию. Мы не сможем переписать культуру за один день. Но мы можем создать дополнительный слой защиты — технологический, институциональный, юридический. Слой, который добавит обязательный этап проверки между выдвижением и властью.

Этот этап не должен зависеть от партийной принадлежности, популярности или богатства. Он должен опираться на объективные, повторяемые, научно обоснованные методы. Как в авиации.

Но для начала нам нужно понять, что именно мы фильтруем. Каковы точные признаки деструктивного лидера? Как они проявляются в поведении, в языке, в истории? Этому посвящены следующие главы. Мы разберём нейробиологию

страха, механизмы манипуляции, психологические профили, которые человечество веками путало с харизмой.

Мы заглянем в мозг тирана.

И только тогда — начнём проектировать скальпель.

ГЛАВА 2. ИМПЕРИИ КАК МАШИНЫ БЕЗЖАЛОСТНОСТИ

Когда мы говорим об империях, мы обычно вспоминаем карты, раскрашенные в цвета завоевателей, великие битвы, триумфальные арки и статуи императоров на конях. Мы восхищаемся масштабом, инженерными решениями, административным гением, который позволял управлять миллионами людей на территориях, простиравшихся на тысячи километров. Но за этой парадной стороной скрывается другая реальность, менее заметная для учебников истории, но куда более важная для понимания того, как устроена власть. Империи, какими бы блестящими они ни казались, были и остаются самыми совершенными машинами по производству безжалостности. Это конвейеры, на которых жестокость превращалась из спонтанной эмоции в стандартизированную технологию управления, а человеческая жизнь — в расходный материал: цифру в отчёте, пункт в списке казнённых или сосланных.

Возьмём Рим, эту цитадель права и порядка, подарившую миру латынь, акведуки, бетон и кодекс Юстиниана. Римляне гордились своей справедливостью, своей цивилизаторской миссией, своим умением наводить порядок там, где царило

варварство. Но этот порядок держался на системе проскрипций — публичных списков врагов государства, подлежащих уничтожению. Имущество их конфисковывалось, а голова оценивалась в золоте. Проскрипции были не просто актами политического террора. Они представляли собой тщательно продуманный инструмент, позволявший императорам и их ставленникам избавляться от неугодных, пополнять казну и одновременно сеять в обществе страх. Этот страх работал эффективнее любой полиции. Доносчик, указавший на скрывающегося врага, получал щедрое вознаграждение. И вскоре римский гражданин переставал доверять собственному рабу, соседу, а иногда и родному брату. Атмосфера всеобщей подозрительности разъедала социальные связи, превращала городское сообщество в скопище испуганных одиночек. Но для императорской власти она была идеальной средой: любые попытки сопротивления тонули в болоте доноительства и взаимных обвинений. И когда на трон восходил очередной Калигула или Нерон, никто не решался сказать, что их безумные прихоти стоят жизни десяткам тысяч людей. Сам институт императорской власти уже был сакрализован, а его носитель объявлялся воплощением бога или по крайней мере его наместником на земле.

Но Рим не был исключением. Он лишь дал наиболее яркий и задокументированный образец того, как политическая система превращает психопатию в профессиональную компетенцию. В Китае эпохи Цинь и Хань правители опирались

на философию легизма. Она прямо утверждала, что человек по природе своей зол и только страх перед суровым наказанием способен удерживать его в рамках порядка. Легисты разработали систему круговой поруки, где каждый член общины отвечал за проступки своих соседей, а укрывательство преступления каралось строже самого преступления. Эта система порождала тотальное недоверие, делала доноительство гражданским долгом и полностью лишала человека приватной сферы, где он мог бы быть самим собой. Император, взошедший на трон в такой системе, уже не мог быть мягким или милосердным. Любые проявления слабости воспринимались чиновниками как сигнал: власть шаткая, можно попытаться её узурпировать. Он был вынужден казнить, конфисковывать, ссылая. И чем больше он казнил, тем сильнее страшились его подданные и тем прочнее становился его трон. Так формировался порочный круг: страх рождал жестокость, жестокость укрепляла страх. Каждый новый император, даже если он начинал с благих намерений, очень быстро встраивался в эту логику, потому что любое отступление от неё грозило ему немедленной гибелью.

Османская империя, просуществовавшая более шести веков, выработала собственный механизм дегуманизации власти — быть может, даже более изощрённый, чем римский или китайский. Султаны, начиная с Мехмеда Завоевателя, ввели практику братоубийства, которая делалась официальным законом. Взойдя на престол, новый султан имел пра-

во и даже обязанность казнить всех своих братьев, чтобы предотвратить возможные междоусобицы и раскол империи. Этот закон, сформулированный как государственная необходимость, превращал убийство родственников в рутинную административную процедуру. Вскоре никто уже не видел в ней ничего предосудительного. Более того, османская бюрократия воспитывала целые поколения правителей и военачальников в системе девширме — принудительного набора мальчиков из христианских семей. Их обращали в ислам, воспитывали при дворе и готовили к службе в янычарском корпусе или администрации. Эти люди, вырванные из родной культуры, лишённые семейных связей и привязанностей, становились идеальными винтиками имперской машины. У них не было никакой иной лояльности, кроме лояльности султану, и никаких моральных обязательств перед теми, кого они должны были облагать налогами, судить или казнить. Сама структура их воспитания была нацелена на подавление эмпатии, на формирование холодного, расчётливого ума, способного просчитывать выгоды и риски, не отвлекаясь на такие «мелочи», как человеческое страдание.

Империя инков, затерянная в Андах и не имевшая прямых контактов с евразийскими цивилизациями, пришла к схожим решениям независимым путём. Инкское государство было организовано как тотальная система распределения и контроля. Каждый подданный был приписан к определённой социальной группе, обязан был отрабатывать тру-

довую повинность и не имел права покидать свою общину без разрешения властей. Нарушителей ждали жестокие наказания, включая публичные казни и сбрасывание со скал. Эти казни совершались не в порыве гнева, а согласно строгому юридическому кодексу, который инки называли «апо» и который не делал исключений ни для знати, ни для простолюдинов. Верховный правитель, Сапа Инка, считался сыном Солнца. Его божественное происхождение не позволяло никому усомниться в его решениях, и потому любые его приказы, даже самые жестокие, воспринимались как воля богов, которую нельзя оспаривать. Эта сакральная оболочка делала инкскую власть необычайно устойчивой. Она гасила любые попытки критики или бунта: бунт против императора автоматически становился бунтом против космического порядка, против самих основ мироздания.

Что объединяет все эти империи, разделённые веками и континентами? Каждая из них создавала идеологическое и институциональное обрамление для насилия, превращая его из спонтанного акта агрессии в узаконенную, формализованную практику, за которую никто не нёс моральной ответственности. В Риме ответственность перекладывалась на закон и на волю сената, в Китае — на мудрость императора и на неизбежность наказания, в Османской империи — на божественное предопределение и на необходимость сохранения державы, у инков — на священный статус Сапа Инки и на незыблемость традиции. И во всех этих системах ре-

гулярно воспроизводился один и тот же социально-психологический эффект: чем безжалостнее оказывался правитель, тем больше его боялись, и тем легче ему было удерживать власть. Страх парализует волю и заставляет людей искать защиты у того, кто сам является источником угрозы. Подданные начинали путать жестокость с силой, бесчувствие — с мудростью, а холодный расчёт — с государственным гением. И этот когнитивный сдвиг закреплялся в культуре, передавался из поколения в поколение через летописи, поэмы, религиозные тексты — через те самые нарративы, которые формируют наш взгляд на историю.

Мы сегодня смотрим на римских цезарей и китайских императоров с высоты наших демократических принципов. Мы осуждаем их жестокость — и при этом продолжаем бессознательно воспроизводить те же оценочные шаблоны, когда речь заходит о современных лидерах. «Он строгий, но справедливый» — говорят нам о политике, который только что провёл сотни арестов. «Он не разменивается по мелочам, он видит картину целиком» — слышим мы о том, кто без колебаний отправляет войска в горячие точки. Мы ищем в своих правителях те самые «железные» качества, которые помогали выживать нашим предкам в джунглях и саваннах. И не замечаем, что в условиях сложного, многослойного общества эти качества становятся источником катастроф, а не гарантией стабильности. Имперские машины безжалостности были построены на отборе людей с низкой эмпатией и вы-

сокой импульсивностью. Точно такой же отбор продолжает действовать в современных политических системах — только теперь он происходит не на поле боя и не в императорском дворце, а в телестудиях, в кулуарах партийных съездов, на страницах газет и в лентах социальных сетей.

Мы должны честно признать: империи, несмотря на их блеск и величие, оставили нам в наследство не только акведуки и библиотеки, но и опасные поведенческие стереотипы. Мы научились восхищаться теми, кто идёт по головам, и презирать тех, кто пытается договариваться. Мы встроили в свою политическую культуру установку, что настоящий лидер должен иногда быть жёстким, даже жестоким, потому что только такой способен навести порядок. И каждый раз, когда мы отдаём свой голос за очередного кандидата, демонстрирующего «несгибаемость» и «решительность», мы делаем шаг назад — в ту самую пещеру, откуда начался наш путь сорок тысяч лет назад. Разница лишь в том, что там, в пещере, ценой ошибки была жизнь одного племени. Сегодня цена ошибки — жизнь целых народов, а возможно, и само существование нашей цивилизации.

Империи, как бы мы ни восхищались их достижениями, остаются для нас предостережением. Они показывают, как легко власть, лишённая эмпатии и ответственности перед теми, кто находится внизу, превращается в механизм, который перемалывает миллионы жизней ради амбиций одного или нескольких человек. И они показывают, что система, си-

стематически отсеивающая доброту и поощряющая безжалостность, неизбежно приходит к кризису. Страх, каким бы сильным он ни был, не может быть вечным фундаментом для государства. Рано или поздно наступает момент, когда страх сменяется отчаянием, а отчаяние — бунтом. И тогда рушатся не только троны, но и целые цивилизации. Каждый раз мы удивляемся, как такое могло случиться. И забываем, что семена будущего крушения были посеяны в тот самый день, когда был сделан выбор в пользу жестокого правителя, а не мудрого. Этот выбор мы повторяем снова и снова, потому что так нас научила история. Теперь пришло время перестать быть учениками этой истории и начать её переписывать.

ГЛАВА 3. СВЯЩЕННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

Религия в её архаических формах всегда была тесно связана с насилием. Жертвоприношения, ритуальные убийства, человеческие жертвы ради умиловливания разгневанных богов — все эти практики кажутся нам сегодня далёкими и дикими, пережитками мрачного прошлого, от которых человечество давно и счастливо избавилось. Но если присмотреться внимательнее, если снять лоск культурного прогресса и заглянуть в историю последних двух тысячелетий, становится очевидно: религия никогда не отказывалась от насилия. Она лишь научилась его ритуализировать, идеологизировать и возводить в ранг священного долга. Инквизиция, крестовые походы, религиозные войны, истребление ерети-

ков и иноверцев — всё это совершалось во имя любви и милосердия, с молитвами на устах и с крестом в руках. Парадокс этой чудовищной инверсии остаётся одним из главных вызовов для понимания того, как устроена деструктивная власть.

Христианство начинало как религия гонимых, как учение о смирении, непротивлении злу и любви к врагам. И очень быстро столкнулось с фундаментальным противоречием. Достигнув статуса государственной религии Римской империи, оно получило доступ к рычагам принуждения — к армии, налогам, судебной системе. В этот самый момент евангельское «не убий» вступило в конфликт с практической необходимостью управлять огромной территорией и подавлять любые формы инакомыслия. Первым шагом на пути к сакрализации насилия стало объявление некоторых вероучительных позиций еретическими, а их носителей — врагами не только церкви, но и государства. Это автоматически делало их наказание делом богоугодным, а не просто политическим. Уже в IV веке первый христианский император Феодосий Великий провозгласил никейское вероисповедание единственно истинным и запретил любые другие формы христианства под страхом конфискации имущества и ссылки. С этого момента можно вести отсчёт истории религиозных преследований, которым не было конца почти полторы тысячи лет.

Крестовые походы растянулись на два столетия и охвати-

ли не только Святую землю, но и Византию, Прибалтику и юг Франции. Это наиболее масштабный пример того, как религиозное воодушевление превращается в машину массового убийства. Папа Урбан II, произнося в 1095 году свою знаменитую речь в Клермоне, обещал участникам похода отпущение всех грехов и вечное спасение, приравнивая гибель в бою с «неверными» к мученичеству за веру. Этот риторический приём оказался настолько эффективным, что десятки тысяч людей — включая крестьян, женщин, стариков и детей — отправились в долгий путь. Они искренне верили, что их ждёт не просто военный поход, а священная миссия, выполнив которую они очистят свои души и заслужат место в раю. Но когда эти воодушевлённые толпы добрались до Иерусалима, они вырезали практически всё его население, не разбирая мусульман, евреев и восточных христиан. Летописцы того времени описывали улицы, залитые кровью по колени, как знак божественного благоволения. Ужас этой бойни, совершённой людьми, которые считали себя последователями Христа, поражает воображение. Но ещё более поразительно другое: церковь не осудила эти события, а напротив — прославила их как триумф веры и продолжила пропагандировать новые походы на протяжении всего XII и XIII столетий.

Механизм, делавший возможным такое вопиющее противоречие между моральным учением и реальной практикой, получил в психологии название когнитивного диссонанса. Но в религиозном контексте он работает несколько иначе.

Вместо того чтобы переживать мучительный разрыв между тем, что проповедует религия, и тем, что она совершает, верующие попросту разделяют своё сознание на два изолированных отсека. В одном они сохраняют образ доброго и милосердного Бога. В другом — формируют образ врага, которого этот Бог ненавидит, и уничтожение этого врага становится актом служения, а не нарушения заповеди. Феномен расщепления, хорошо изученный современной психологией, позволяет человеку одновременно любить человечество в целом и безжалостно истреблять конкретных людей, объявленных по тем или иным признакам «нелюдями», «еретиками», «язычниками» или «врагами веры». Для деструктивного лидера — будь то религиозный авторитарный правитель или светский диктатор, использующий религиозную риторику, — этот механизм становится главным инструментом мобилизации масс. Он снимает с людей моральную ответственность и перекладывает её на высшие силы: на «волю Божию», на «историческую необходимость» или на «судьбу нации».

Инквизиция, созданная в XIII веке специально для борьбы с ересями, довела этот метод до логического завершения. Преследование инакомыслящих превратилось в отлаженную бюрократическую процедуру с собственной системой судопроизводства, допросов, пыток и публичных казней. Удивительным образом инквизиторы, отправлявшие на костёр тысячи людей, искренне считали себя спасителями душ. Со-

гласно их логике, сожжение еретика на этом свете давало ему последнюю возможность покаяться и избежать вечных мук в аду, тогда как снисходительное отношение к его заблуждениям обрекало бы его на бесконечное страдание после смерти. Эта аргументация, циничная в своей основе, но пугающе последовательная, позволяла инквизиторам сохранять чувство морального превосходства даже в тот момент, когда их жертвы корчились в пламени и молили о пощаде. И что особенно важно для нашего исследования: инквизиция привлекала к себе людей с ярко выраженными психопатическими наклонностями. Садистское удовлетворение от пыток и казней подавалось как религиозное рвение, как усердие в борьбе за чистоту веры. Система поощряла их, потому что результативность в деле выявления и уничтожения еретиков считалась высшей добродетелью.

Религиозные войны XVI–XVII веков, раздиравшие Европу на части после Реформации, продемонстрировали: протестанты ничуть не уступают католикам в способности освящать насилие и находить божественные оправдания для самых чудовищных зверств. Варфоломеевская ночь, когда в Париже и других французских городах за несколько дней было убито от пяти до десяти тысяч гугенотов, стала символом этого братоубийственного безумия. Но она была лишь одним эпизодом в череде конфликтов, где каждая сторона считала себя избранным народом, а другую — орудием сатаны. Кальвинисты в Женеве казнили Мигеля Сервета за от-

рицание догмата о Троице, католики в Испании продолжали методично истреблять морисков и марранов, лютеране в Германии преследовали анабаптистов. Все они ссылались на одни и те же библейские тексты, все цитировали одних и тех же Отцов Церкви. И никто не видел противоречия между проповедью любви и практикой массового уничтожения.

Здесь мы подходим к ключевому пункту нашего анализа. Религиозная санкция на насилие создаёт уникальную питательную среду для «Тёмной триады», потому что снимает с человека его последний внутренний тормоз. Нарциссический лидер, жаждущий поклонения, может объявить себя помазанником Божиим и требовать обожествления — как это делали византийские императоры или папы эпохи Возрождения. Макиавеллистический стратег может использовать религиозные лозунги как инструмент управления и как оправдание для самых жестоких решений, прекрасно понимая, что критиковать «волю Божию» никто не осмелится. Психопат, лишённый эмпатии, может казнить людей с лёгким сердцем: его жестокость освящена высшим авторитетом, и любой, кто попытается его остановить, будет объявлен еретиком или богохульником. Система, в которой насилие получает религиозное одобрение, становится практически неуязвимой для этической критики. Именно этой неуязвимостью пользовались все деспоты — от римских цезарей, объявлявших себя богами, до современных авторитарных правителей, которые говорят от имени нации, истории или провидения.

Но было бы неверно остановиться на пессимистическом выводе, будто религия неизбежно служит оправданием жестокости, а любая сакрализация власти ведёт к злоупотреблениям. История религии — это не только история инквизиции и крестовых походов. Это ещё и история пророков, обличавших несправедливость, святых, защищавших бедных и угнетённых, монахов, переписывавших книги и сохранявших знание, когда вокруг рушились империи. Те же самые тексты, которые использовались для оправдания убийств, содержали и призывы к состраданию, к прощению, к милости. Эти призывы тоже звучали громко в определённые моменты истории, напоминая человечеству: насилие не может быть священным по определению. Любой акт жестокости в конечном счёте оскверняет того, кто его совершает, независимо от того, во имя чего он совершён. И в этой внутренней борьбе — между сакрализацией насилия и его неприятием, между жадой власти и порывом к служению — разворачивается главная драма человеческой духовности. Именно в этой драме коренится ответ на вопрос, который мы ставим в начале исследования.

Новый Завет — с его требованием любить врагов и подставлять вторую щёку, с притчей о добром самарянине и осуждением фарисейского лицемерия — представлял собой радикальный вызов той логике, которая позволяла религиозным лидерам оправдывать массовые убийства именем Бога. И даже когда церковь отступила от этого завета, сам завет

продолжал существовать как постоянное напоминание, как совесть культуры, не дававшая насилию полностью захватить религиозное воображение. Именно поэтому мы не можем рассматривать религию только как инструмент деструктивной власти. Она одновременно является и полем борьбы, где сталкиваются две противоположные антропологии. Иногда эта борьба приводит к тому, что церковь встаёт на сторону жертв, а не палачей, — как это случилось, например, в движении за отмену рабства или в борьбе за гражданские права в XX веке.

Так что же мы выносим из этого исследования священной жестокости для нашего главного проекта, для архитектуры фильтра власти? Во-первых, любая идеология — не только религиозная, но и политическая или националистическая — может быть использована для сакрализации насилия и для создания ментальной защиты, за которой деструктивный лидер чувствует себя неуязвимым. Во-вторых, фильтр, который мы проектируем, должен быть направлен не против религии как таковой, а против механизма расщепления сознания, позволяющего человеку совершать жестокие поступки и при этом сохранять чувство моральной правоты. Этот механизм формируется в глубоко укоренённых культурных установках, в воспитании, в ритуалах и символах. Он гораздо опаснее отдельных проявлений жестокости, потому что делает жестокость привычной, нормальной, почти естественной. И борьба с ним должна вестись не на уровне за-

претов и наказаний, а на уровне перестройки сознания: на уровне развития критического мышления, способности к рефлексии и — самое главное — на уровне воспитания эмпатии, единственной реальной прививки против расщепления.

Религиозная история человечества даёт нам богатый материал для понимания того, как власть, облечённая в сакральные одежды, становится безжалостной. И как эта безжалостность находит поддержку в массах: массы хотят верить, что их правитель действует от имени высших сил, а не из корыстных или патологических побуждений. В следующих главах мы увидим, как те же механизмы воспроизводятся в политической риторике современности. «Избранность нации», «историческая миссия» и «судьба цивилизации» становятся современными аналогами божественного помазания, и деструктивные лидеры продолжают использовать эту риторику, чтобы снять с себя моральную ответственность. Но мы увидим и другое: как эти механизмы могут быть обезврежены. Как научить людей распознавать расщепление, видеть его проявления в речи политиков, в их поведении, в их решениях. Как создать культуру, которая ценит не громкие лозунги, а конкретные поступки, не декларации о великих целях, а реальное человеческое измерение политики. В этом смысле анализ священной жестокости становится не просто исторической справкой, а практическим пособием по распознаванию патологий власти. Несмотря на весь прогресс цивилизации, они продолжают воспроизводиться в

новых формах: человеческая природа не так сильно изменилась за последние тысячи лет, и старые вирусы всегда готовы вернуться, если у них появится хоть малейшая лазейка.

ГЛАВА 4. РЕЛИГИЯ СОСТРАДАНИЯ

Предшественствующие религии и имперские культы освящали силу и превращали жестокость в добродетель. Христианство в его евангельском ядре предприняло попытку радикального переворота, которая по своему масштабу и последствиям до сих пор остаётся не до конца осмысленной. Вместо того чтобы продолжить многовековую традицию обожествления власти, вместо того чтобы укреплять трон императора божественным авторитетом, авторы Нового Завета предложили концепцию, выглядевшую безумной в глазах римского мира, привыкшего почитать цезарей и поклоняться богам, которые олицетворяли мощь и победу. Они провозгласили, что истинная сила проявляется не в господстве, а в служении, не в триумфе, а в жертвенности, не в могуществе, а в уязвимости. Этот коперниканский сдвиг в понимании власти и человеческого достоинства стал не просто религиозным откровением, но и психологическим вызовом всем тем механизмам, которые веками делали возможным процветание «Тёмной триады» на вершинах социальной иерархии. И хотя институциональная церковь впоследствии отступила от этого идеала, сама идея продолжала жить как неугасимый маяк, освещающий альтернативные пути организации человеческих отношений.

Эту главу мы начнём с одной из самых известных сцен Нового Завета. Прочитанная внимательно, она превращается в психологический трактат о природе власти и её искушениях. Иисуса, измождённого сорокадневным постом в пустыне, искушает сатана. Он предлагает три соблазна, и каждый представляет собой классический путь деструктивного лидерства. Первый — превратить камни в хлеб: использовать божественную силу для удовлетворения самых насущных потребностей, стать кормильцем, на которого народ будет полагаться как на источник выживания, и тем самым обрести зависимость масс. Второй — броситься с крыла храма и быть подхваченным ангелами: совершить эффектный публичный трюк, который докажет сверхъестественное происхождение и заставит толпу благоговеть перед чудотворцем. Третий — получить власть над всеми царствами мира: классическое политическое господство, власть, которая держится на принуждении и контроле. И каждый раз Иисус отвергает эти соблазны — причём отвергает не просто как искушения, а как ложные модели бытия, противоречащие его миссии. Он выбирает не хлеб, а слово, не чудо, а веру, не власть, а служение. Этот эпизод, часто воспринимаемый как чисто теологический, на деле является точнейшей диагностикой психопатического влечения к власти и его этической несостоятельности. Он задаёт тон всему последующему евангельскому нарративу.

ИНВЕРСИЯ ЦЕННОСТЕЙ КАК ЛЕКАРСТВО ОТ

НАРЦИССИЗМА

Нагорная проповедь, которую мы находим у Матфея в пятой и шестой главах, представляет собой самый подробный и систематический свод этических принципов, когда-либо предложенных человечеству. Главное её свойство в том, что она переворачивает с ног на голову все привычные представления о том, что значит быть успешным, сильным и достойным уважения. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное», «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» — эти заповеди, мягко говоря, шокировали современников. Те привыкли, что земля достаётся завоевателям, богатство — хитрым и беспринципным, а утешение — тем, кто способен отстоять свои права силой. Иисус намеренно, почти провокационно, ставит в центр своей картины мира тех, кого античный мир считал слабыми, незначительными и недостойными внимания. И делает это с совершенно определённой психологической целью: разрушить нарциссическую иерархию, которая ставит самооценку человека в зависимость от его социального успеха, богатства, влияния и способности доминировать над другими.

Нарциссический индивид, как мы помним из предыдущих глав, живёт в постоянном страхе: его значимость будет поставлена под сомнение, кто-то окажется умнее, красивее или успешнее. Его существование становится бесконечной гонкой за подтверждениями собственного величия

— гонкой, в которой он никогда не может остановиться, потому что остановка означала бы крах его хрупкой идентичности. Евангельская инверсия предлагает выход из этого замкнутого круга. Она утверждает, что истинная ценность человека не определяется его положением в иерархии, что богатство, слава и власть суть лишь тени, которые исчезают вместе с солнцем, и что подлинное достоинство заключается в способности к любви, к смирению, к служению. Человек, принявший эту инверсию, освобождается от нарциссической лихорадки. Он перестаёт нуждаться в постоянных доказательствах своего превосходства и может наконец заняться тем, для чего он действительно предназначен: развитием своих духовных и интеллектуальных способностей, заботой о ближних и строительством отношений, основанных на взаимном уважении, а не на конкуренции.

Но евангельская этика идёт дальше простого переопределения ценностей. Она предлагает совершенно неожиданную тактику обезвреживания агрессии — на первый взгляд пассивное подчинение, а при внимательном рассмотрении тончайшее психологическое оружие. Знаменитая фраза о подставлении второй щеки, ставшая предметом бесконечных споров и недоразумений, не призывает к мазохизму или отказу от самозащиты. В ближневосточной культуре того времени удар по правой щеке означал не просто оскорбление, а определённый социальный жест: так господин наказывал раба, а начальник — подчинённого. Подставить вторую щеку

значило лишить агрессора его власти, потому что этот жест переводил акт наказания из иерархического измерения в горизонтальное. Человек, подставляющий вторую щёку, говорит агрессору: ты не можешь меня унижить, потому что я не признаю твоей власти надо мной. Я не играю в твою игру, где удар означает подчинение. Я превращаю твой удар в бессмысленный жест, не имеющий никаких последствий для моего достоинства. Этот приём, который современные психологи назвали бы техникой переопределения ситуации, полностью обезвреживает нарцисса. Он бьёт по той потребности в эмоциональной реакции, которая питает агрессию, — и когда реакции не происходит, власть агрессора испаряется как дым.

Примерно та же логика работает и в требовании любить врагов — пожалуй, самом трудном и самом радикальном из всех евангельских предписаний. Любовь к врагу в евангельском понимании не означает сентиментальной симпатии или одобрения его злых поступков. Она означает отказ от враждебности как фундаментальной установки, решение рассматривать другого человека — даже если он причинил тебе зло — как личность, а не как инструмент или препятствие. Для макиавеллиста, который строит свою политическую стратегию на чётком разделении на друзей и врагов, на полезных и бесполезных, на тех, кого можно использовать, и тех, кого нужно уничтожить, такая установка является полной бессмыслицей. Но именно в этой бессмысли-

це и заключается сила евангельского подхода. Он разрушает саму возможность инструментального отношения к людям, переводит коммуникацию из плоскости расчёта и выгоды в плоскость признания безусловной ценности каждого человеческого существа, независимо от его отношений с тобой. Политик, который искренне руководствуется таким принципом, не может быть циником. Он не может использовать людей как пешки и списывать их в утиль, когда они перестают быть полезными. И потому он становится совершенно неуязвим для соблазнов макиавеллизма, которые разъедают душу и превращают власть в самоцель.

ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ КАК АНТИДОТ ПРОТИВ ТРАЙБАЛИЗМА

Одним из самых мощных инструментов против трайбализма и этноцентризма евангельская традиция даёт притчу о милосердном самарянине, которую мы находим у Луки в десятой главе. Священник и левит, проходя мимо избитого и ограбленного человека, оставленного на дороге полумёртвым, не останавливаются. Обычно этот факт объясняют их ритуальными опасениями — страхом оскверниться прикосновением к труп, если тот уже умер. Но за бытовым объяснением скрывается более глубокая культурная установка. Они не останавливаются, потому что лежащий в крови человек находится вне их группы: он может быть чужеземцем, язычником, преступником — словом, тем, кто не принадлежит к их сообществу и потому не заслуживает их внима-

ния. Они следуют негласному закону трайбализма: моральные обязательства действуют только внутри своего круга, а к чужим можно относиться с безразличием или даже с враждебностью. Самарянин же, который в глазах иудейского слушателя был представителем враждебной этнической и религиозной группы, останавливается, перевязывает раны, отвозит пострадавшего в гостиницу и оплачивает его содержание. Он проявляет милосердие, которого не проявили священнослужители, обязанные по своему статусу быть образцами добродетели.

Иисус заканчивает эту притчу вопросом: кто из этих троих оказался ближним для попавшего в разбойники? Ответ, который он подразумевает, но не произносит прямо: ближним оказался тот, кто проявил милость, — независимо от его национальности, происхождения и религиозной принадлежности. Эта простая мысль наносит сокрушительный удар по всей конструкции групповой солидарности, лежащей в основе любого этнического, националистического или религиозного превосходства. Она утверждает, что этическое поведение определяется не принадлежностью к какой-либо группе, а конкретными действиями по отношению к страдающему человеку. Границы между «своими» и «чужими» искусственны и не должны определять наше поведение. Для политического манипулятора, который всегда строит свою риторику на противопоставлении «мы» и «они», на страхе перед чужаками, на мобилизации против «врагов народа», эта

притча является прямым вызовом и одновременно разоблачением. Она показывает, что все громкие разделения служат одной цели — оправдать жестокость и безразличие. А истинная нравственность заключается именно в способности увидеть человека там, где другие видят врага.

ВЛАСТЬ КАК СЛУЖЕНИЕ И АПОФЕОЗ УЯЗВИМОСТИ

Третий удар евангельская этика наносит по психопатическому пониманию власти, решительно переопределяя сам смысл лидерства и управления. Когда ученики, охваченные инфантильным соперничеством, начинают спорить о том, кто из них будет первым в Царстве Небесном, Иисус сажает перед ними ребёнка и говорит: если не станете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Этот жест, часто понимаемый слишком буквально как призыв к инфантильности, на самом деле содержит глубокий психологический смысл. Ребёнок в культуре того времени не имел никакого социального статуса. Он был абсолютно зависим, его мнение ничего не значило — полная противоположность взрослому мужчине, который обладал правами, обязанностями и престижем. Иисус указывает на ребёнка именно потому, что хочет сказать ученикам: чтобы войти в Царство, то есть достичь истинной духовной зрелости, нужно освободиться от стремления к статусу. Нужно перестать соревноваться за первенство, потому что это соревнование — проекция того самого мира, который вы должны преодолеть.

Но ещё радикальнее эпизод с омовением ног, который мы находим в тринадцатой главе Евангелия от Иоанна. В палестинской культуре омовение ног было обязанностью самого низшего раба. И когда Иисус, которого ученики считали своим учителем и господином, берёт таз и полотенце и начинает мыть ноги каждому из двенадцати, он совершает акт, который должен был вызвать шок и отвращение у любого, кто хоть немного понимал социальные коды того времени. Пётр, самый пылкий из учеников, пытается воспротивиться. Но Иисус настаивает: если он не позволит себя умыть, то не будет иметь с Ним части. Этот обмен репликами часто толкуют в богословском ключе, как указание на таинство крещения. Однако его социальный и психологический подтекст не менее важен. Иисус сознательно ставит себя на место слуги. Он делает видимым и осязаемым принцип, провозглашённый накануне, в споре о первенстве: истинный лидер не тот, кто заставляет других служить себе, а тот, кто находит в себе мужество и любовь служить другим.

Этот принцип полностью обесценивает психопатическое стремление к власти как самоцели. Для человека, который стремится к власти ради власти, ради удовлетворения своей жажды контроля и доминирования, служение другим является бессмыслицей или даже оскорблением: оно ставит его на одну доску с теми, кого он считает низшими. Но именно в отказе от привилегий и состоит евангельское понимание лидерства. Власть даётся не для того, чтобы наслаждаться-

ся ею, а для того, чтобы использовать её для блага других. Мера величия определяется не тем, сколько людей подчиняются тебе, а тем, скольким людям ты помог. В этом смысле евангельская этика представляет собой самую радикальную из всех возможных оппозиций нарциссизму. Она атакует его в самой сердцевине — в убеждении, что собственное «Я» является центром вселенной и что все остальные существуют лишь для того, чтобы отражать его величие.

Крест, инструмент позорной казни, в римском мире был символом унижения и поражения. В христианской традиции он становится символом победы — и одновременно символом той парадоксальной власти, которая вырастает из уязвимости. Распятый Бог, добровольно принимающий страдания и смерть, представляет собой абсолютную противоположность могущественному императору, демонстрирующему свою силу через завоевания и казни. В этом образе заключено представление о власти, которая не защищает себя от боли, а входит в неё, не избегает страдания, а принимает его как часть бытия, не диктует условия, а прощает. Для психопатического лидера, не способного к эмпатии и не понимающего чужой боли, такой образ власти непостижим и даже отвратителен. Но для культуры он стал мощнейшим архетипом, который продолжает влиять на наши ожидания от лидеров даже в полностью секулярном обществе. Мы бессознательно ждём от наших правителей не только силы, но и способности к состраданию, не только решительности, но и

мудрости, не только эффективности, но и человечности. И эти ожидания, сколь бы часто они ни нарушались, продолжают работать как внутренний цензор, не дающий нам полностью принять циничное макиавеллистское понимание политики.

Историческая трагедия христианства в том, что институциональная церковь очень скоро забыла эти уроки и сама превратилась в машину власти, в очередную бюрократию, которая использовала насилие и принуждение ничуть не меньше, чем римские императоры. Но сам евангельский идеал — странный и утопический код, в котором слабость сильнее силы, а поражение весомее победы, — остался в культуре как постоянное напоминание. Существуют альтернативные пути. Власть может быть не только инструментом угнетения, но и средством освобождения. Человеческое достоинство не определяется социальным статусом, а даруется каждому уже самим фактом его существования. И когда мы сегодня, в XXI веке, пытаемся спроектировать систему фильтров, которая не допускала бы к рычагам управления людей с дефицитом эмпатии и склонностью к манипуляции, мы продолжаем ту самую борьбу, которую начали авторы Евангелий две тысячи лет назад. Только теперь мы вооружены не только верой, но и наукой, не только надеждой на спасение, но и технологиями нейросканеров и психологических тестов. Мы пытаемся сделать то, что не удалось церкви: институционализировать призыв к человечности, заложен-

ный в самой сердцевине христианского учения, и превратить его из морального императива в практическую технологию отбора, которая работала бы независимо от доброй воли отдельных людей.

ТОМ II

ГЛАВА 5. КУЛЬТУРНЫЙ КОД ЗЛОДЕЯ

Человечество никогда не испытывало недостатка в историях о великих разбойниках, благородных пиратах, хитроумных обманщиках и безжалостных завоевателях. Зрители и читатели прощали им самые чудовищные поступки, потому что их образ был облечён в привлекательную упаковку мужественности, ума или просто неуёмной жизненной силы. Начать можно с Одиссея. Он выкалывает глаз циклопу, обманывает своих спутников, хитростью проникает в чужие дома и убивает женихов своей жены с такой жестокостью, что их внутренности заливают полы пиршественного зала. И тем не менее он остаётся для нас не убийцей, а героем, архетипом странника и искателя приключений, чьи нравственные изъяны кажутся не пороками, а естественными атрибутами человека, живущего в опасном мире. Перейдём к средневековым балладам о Робин Гуде. Он грабит богатых, чтобы отдать бедным, но при этом не гнушается убийствами и не слишком заботится о праве собственности. Его образ в массовом сознании не вызывает отвращения — напротив, порождает симпатию и желание подражать. А когда мы добиремся до XX века и видим, как киноиндустрия десятилетия-

ями эксплуатирует образ гангстера, мафиози, мстителя-одиночки или безумного гения, ставящего себя выше закона, мы должны задать себе мучительный вопрос. Почему мы, цивилизованные люди, живущие в обществах, где действуют суды и полиция, продолжаем восхищаться теми, кто нарушает правила? И почему находим в этом восхищении что-то почетительное и глубоко укоренённое в нашей психике?

Ответ лежит в сложном переплетении эволюционных механизмов, культурных нарративов и психологических проекций. И он имеет прямое отношение к нашей главной теме. Те же самые механизмы, которые заставляют нас любить антигероев в книгах и фильмах, заставляют нас голосовать за политиков, демонстрирующих те же черты, и прощать им поступки, которых мы никогда не простили бы соседу или коллеге. Мы не просто развлекаемся, когда смотрим «Крёстного отца» или «Американского психопата». Мы участвуем в коллективном ритуале, который позволяет безопасно переживать запретные желания. И одновременно закрепляем в своём сознании опасную установку: гениальность и безнравственность могут уживаться в одном человеке, а безнравственность часто и есть цена, которую платят за великие достижения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ВОСХИЩЕНИЯ АНТИГЕРОЕМ

Одна из главных причин нашей симпатии к антигероям проста: они делают то, что мы сами хотели бы делать, но не

можем — из-за социальных ограничений, внутренних запретов или страха наказания. В глубине каждого из нас живёт ребёнок, который мечтает перестать подчиняться правилам, который устал быть вежливым и предупредительным, который хочет взять причитающееся ему и наказать тех, кто его обидел. Этот ребёнок находит в антигерое своего заместителя, совершающего запретные действия в безопасном пространстве вымысла. Мы наслаждаемся тем, как Хитклиф в «Грозовом перевале» мстит своим обидчикам с чудовищной жестокостью, потому что и сами когда-то хотели отомстить школьному хулигану или несправедливому начальнику — но не хватило смелости или возможности. Мы аплодируем Джеймсу Бонду, убивающему врагов с хладнокровием профессионального мясника, потому что устали от чувства беспомощности перед глобальными угрозами. Нам хочется верить, что существует человек, способный взять ситуацию под контроль и решить проблему простым и эффективным способом, без долгих переговоров и нудных бюрократических процедур.

В этом смысле антигерой является своего рода психологическим клапаном, через который общество выпускает пар агрессивных и деструктивных импульсов. Эта функция делает его не просто развлекательным персонажем, а важным элементом социальной стабильности. Гораздо безопаснее, когда люди выплёскивают свои фантазии о насилии и мести на экранах кинотеатров, чем когда они выходят на ули-

цы и начинают реализовывать их в реальной жизни. Именно поэтому все тоталитарные режимы всегда проявляли повышенный интерес к контролю над искусством: они интуитивно чувствовали, что образы, которые потребляет общество, формируют его представления о допустимом и недопустимом, о героическом и преступном. Но функция антигероя не ограничивается сублимацией агрессивных импульсов. Он выполняет и важную когнитивную работу: помогает нам справляться с фундаментальным противоречием, которое мучает каждого человека в сложном обществе, — с невозможностью быть одновременно эффективным и моральным.

Мы все живём в мире, где требования эффективности часто вступают в противоречие с требованиями морали. Ради крупной цели приходится закрывать глаза на мелкие несправедливости, ради сохранения собственного положения — поступаться принципами. Это противоречие порождает глубокий внутренний конфликт, который мы не всегда можем осознать и тем более разрешить. Антигерой, игнорирующий моральные нормы ради достижения великой цели, даёт нам символическое решение этой дилеммы. Он показывает, что можно остаться эффективным, не будучи святым, и что неспособность соблюдать все правила не делает человека автоматически злодеем, если он служит более высокой — пусть даже не вполне ясной — цели. Именно поэтому такую симпатию и даже восхищение вызывают персонажи вроде

доктора Хауса, который нарушает все правила больничной этики, но спасает пациентов, или Шерлока Холмса, который употребляет наркотики и игнорирует полицейские протоколы, но раскрывает самые сложные преступления. Мы проецируем на них собственные компромиссы и хотим верить, что и наши нарушения, сколь бы незначительными они ни были, тоже могут быть оправданы высокими целями.

ОТ ЭПИЧЕСКИХ ГЕРОЕВ К НАРЦИССИЧЕСКИМ ИКОНАМ

Эволюция образа антигероя в западной культуре представляет собой увлекательную траекторию, которая многое говорит об изменении наших коллективных представлений о власти, морали и человеческом величии. В античных эпохах герой — будь то Ахиллес или Одиссей — наделён сверхчеловеческими способностями, но всё ещё остаётся в рамках традиционной системы ценностей. Он должен чтить богов, защищать своих соплеменников и соблюдать определённые правила чести, даже если иногда нарушает их в порыве гнева или страсти. Эти нарушения воспринимаются скорее как трагические слабости, как результат чрезмерной эмоциональности, но не как принципиальное отрицание моральных норм. В средневековых рыцарских романах герой уже гораздо более нормативен. Он почти лишён индивидуальных черт и служит воплощением добродетелей, которые его общество считает идеальными, — и это делает его скучным и малопонятным для современного читателя, привыкшего к

психологической сложности и моральной неоднозначности.

Революция происходит в XIX веке, когда романтизм, а затем реализм создают новый тип литературного героя. Он не просто нарушает правила — он делает это систематически и с полным осознанием своей правоты. Байронический герой, этот мрачный, циничный, одинокий бунтарь, который презирает общество и его законы, становится одной из самых влиятельных фигур в европейской культуре. Его влияние ощущается до сих пор в тысячах книг и фильмов, от «Гордости и предубеждения» до «Сумерек». Чайльд-Гарольд, Манфред, Печорин, Ральф — все эти персонажи объединены одной чертой. Они ставят себя выше общества, не признают авторитетов, живут по собственному кодексу, часто жестокому и эгоцентричному. И при этом сохраняют для читателя неотразимое очарование, потому что кажутся более живыми, более страстными и более свободными, чем их благонаправленные и скучные современники.

Здесь мы подходим к самому опасному аспекту культового восхищения антигероем. Оно легко перерастает в восхищение настоящими деструктивными лидерами, которые умеют подать себя именно как байронических бунтарей, стоящих над толпой и её мелкими заботами. Когда политик выходит на сцену с презрительной усмешкой, говорит о себе в превосходных тонах и демонстрирует полное пренебрежение к установленным правилам, он опирается на тот самый культурный архетип, который был создан поэтами и романи-

стами XIX века. Многие избиратели, воспитанные на этом архетипе, бессознательно переносят на него те же чувства, которые испытывают к своим любимым литературным героям. Они видят в нём не просто кандидата на должность, а воплощение той бунтарской свободы, которой им не хватает в собственной жизни. И готовы простить ему нарушения, которых никогда не простили бы обычному чиновнику или менеджеру: в их воображении он находится на другом уровне бытия, где обычные правила не действуют.

НИЦШЕ И ЕГО ОПАСНОЕ НАСЛЕДИЕ

Особое место в этой истории занимает Фридрих Ницше. Его идеи о сверхчеловеке, воле к власти и переоценке всех ценностей были многократно истолкованы в том духе, что мораль является изобретением слабых, а сильная личность имеет право переступить через неё ради достижения своих целей. Сам Ницше, безусловно, был гораздо более сложным мыслителем, чем это представляют его поверхностные интерпретаторы, и он отнюдь не призывал к насилию и безнравственности. Но его концепция сверхчеловека, вырванная из контекста общей философской системы, стала интеллектуальным оправданием для множества политических авантюристов и тиранов, увидевших в ней разрешение действовать без оглядки на обычную мораль. И когда мы сегодня читаем речи авторитарных лидеров, которые говорят о своей исключительной миссии, о своём праве нарушать международные договоры и попирают права человека ради «историче-

ской необходимости», мы слышим в них эхо ницшеанского сверхчеловека — каким его поняли, а вернее, не поняли миллионы читателей.

Но важно не только то, как идеи Ницше были использованы и интерпретированы. Важно, почему они оказались так восприняты массовым сознанием и почему до сих пор продолжают влиять на наши представления о власти и лидерстве. В основе этой восприимчивости лежит глубокое и, возможно, неистребимое желание верить, что существует кто-то способный преодолеть ограничения, которые мы ощущаем на себе каждый день, кто может распоряжаться судьбами, не подчиняясь сковывающим нас правилам. Это желание особенно сильно в периоды кризисов, когда старые системы ценностей рушатся, а новые ещё не сложились, когда люди чувствуют себя потерянными и ищут точку опоры. Именно в такие периоды на политическую сцену выходят фигуры, умеющие сыграть роль того самого сверхчеловека, который «встряхнёт» систему и наведёт порядок.

ПОП-КУЛЬТУРА КАК ШКОЛА ОПРАВДАНИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ЛИДЕРСТВА

Современная массовая культура, особенно кинематограф и телевидение с их безграничными возможностями визуализации и эмоционального воздействия, превратила культ антигероя в индустрию. Она ежегодно приносит миллиарды долларов и формирует вкусы и представления миллионов людей по всему миру. Тони Сопрано, Уолтер Уайт, Декс-

тер Морган, герои «Карточного домика» — все эти персонажи стали не просто популярными, а культовыми. Зрители их обсуждают, им сопереживают, за них болеют — несмотря на то, что в реальной жизни их поступки заслуживали бы пожизненного заключения или смертной казни. Индустрия развлечений освоила технику, которую психологи называют «постепенным вовлечением». Персонаж начинает с мелких нарушений, вызывающих лишь лёгкое неодобрение, а затем переходит ко всё более серьёзным преступлениям. Зритель, уже эмоционально привязанный к нему, незаметно для себя смещает планку допустимого и начинает оправдывать то, что ещё пару серий назад казалось ему чудовищным.

Эта техника работает по тому же принципу, что и манипулятивное поведение в политике. Лидер сначала говорит о необходимости «небольших ограничений» для обеспечения безопасности, а затем постепенно расширяет их, пока они не охватывают всё общество. Граждане, уже привыкшие к ограничениям и проникшиеся доверием к лидеру, не замечают, как их свободы урезаны до основания. Те же когнитивные механизмы, которые заставляют нас сочувствовать Уолтеру Уайту, торгующему наркотиками и убивающему конкурентов, заставляют терпимо относиться к политикам, которые нарушают конституцию, ограничивают свободу прессы и подавляют оппозицию. Мы уже привыкли к их образу, уже эмоционально вложились в их нарратив — и не хотим признавать, что ошиблись в своём выборе. Антигерой, как и

деструктивный лидер, учит нас одной и той же опасной привычке: разделять человека и его поступки, говорить «он, конечно, сделал что-то нехорошее, но в целом он хороший парень, и у него были свои причины».

ЧТО ДЕЛАТЬ С КУЛЬТУРНЫМ КОДОМ ЗЛОДЕЯ

Здесь мы подходим к главному практическому выводу, который прямо связан с нашим проектом фильтра власти. Мы не можем и не должны запрещать культуру антигероя. Мы не можем избавиться от архетипа бунтаря: он слишком глубоко укоренён в нашей психике и в нашей истории, и любая попытка его подавить приведёт лишь к тому, что он выйдет на поверхность в ещё более уродливых формах. Но мы можем и должны научиться распознавать разницу между литературной игрой и политической реальностью — между воображаемым персонажем, чьи преступления мы переживаем на расстоянии, и реальным политиком, чьи преступления затрагивают нас напрямую. Мы можем воспитывать в себе критическое отношение к предлагаемым нарративам, задавая вопросы, которые обычно не задаём. Почему именно этот образ вызывает у меня симпатию? Что именно во мне он затрагивает? Какие мои собственные желания и страхи он отражает? И наконец: готов ли я простить реальному человеку то, что прощаю вымышленному герою?

Школа, о которой мы будем говорить в следующих главах, должна стать местом, где эти вопросы задаются систематически. Где анализ нарративов становится таким же важным

навыком, как математика или грамматика. Где дети учатся не просто потреблять культурные продукты, но и анализировать их, видеть скрытые механизмы манипуляции, отличать здоровое восхищение силой от патологического поклонения жестокости. Этот навык — назовём его культурной иммунзацией — является, возможно, единственной реальной защитой от того, чтобы культ антигероя перерос в политическую катастрофу. От того, чтобы мы снова и снова выбирали тех, кто кажется воплощением нищееанского сверхчеловека, но на деле оказывается лишь жалким психопатом, неспособным к эмпатии и одержимым манией величия.

Проблема, как мы увидим в следующей главе, не только в том, что мы любим антигероев. Настоящие психопаты научились использовать эту любовь для собственного возвышения — и делают это с искусством, достойным лучшего применения. Они надевают маску байронического героя, когда это выгодно, маску народного трибуна, когда это нужно, маску железного правителя, когда обстановка требует жёсткости. А мы, зрители бесконечного спектакля, часто не видим под масками пустоту или злобу: культурная память подсказывает нам, что за маской всегда скрывается нечто великое и важное. Но маска — это всего лишь маска. Задача нашего фильтра — сделать так, чтобы под ней нельзя было спрятаться. Чтобы даже самый искусный актёр не мог пройти проверку, которая смотрит не на его выступления, а на его нейронные сети, на его эмоциональные реакции, на его спо-

способность чувствовать то, что чувствуют другие. И тогда культурный код злодея перестанет быть опасным. Он останется просто развлечением, игрой, в которой мы можем участвовать, не рискуя собственной жизнью и свободой.

ГЛАВА 6. МАКИАВЕЛЛИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

В 1513 году Италия представляла собой раздробленную карту враждующих городов-государств, а французские и испанские армии безнаказанно грабили её земли. Флорентийский дипломат Никколо Макиавелли, недавно потерявший свой пост после восстановления власти Медичи, удалился в своё поместье под Флоренцией и написал трактат, которому предстояло навсегда изменить представление человечества о политике. «Государь» — небольшая книга, написанная в состоянии горького разочарования и одновременно с горячей надеждой вернуться к политической деятельности. Она предложила читателю столь откровенный и циничный взгляд на природу власти, что автор сразу же был заклеймён как учитель тиранов, а его имя навечно стало синонимом безнравственности, коварства и готовности использовать любые средства ради цели. И действительно: если читать «Государя» без учёта исторического контекста, без понимания той отчаянной ситуации, в которой находилась Флоренция, без знания биографии самого Макиавелли — страстного республиканца, мечтавшего об объединённой Италии, — легко прийти к выводу, что перед нами учебник по тому, как стать идеальным тираном и удерживать власть

любой ценой, даже ценой чести, совести и человечности.

Но истина, как это часто бывает, гораздо сложнее и одновременно опаснее поверхностного прочтения. Макиавелли не был ни садистом, ни апологетом насилия. Он был первым политическим аналитиком, который решил описать власть не такой, какой она должна быть в идеальном мире, а такой, какая она есть. Его прозрение состояло в том, что политика имеет собственную логику, часто противоречащую логике морали и не сводимую к простым моральным предписаниям. «Государь» был написан как практическое руководство для правителя, вынужденного действовать в условиях враждебного мира, где все играют по своим правилам и никто не собирается жертвовать своими интересами ради абстрактной справедливости. В этом смысле трактат был честным и даже мужественным шагом: он срывал маску лицемерия с политики и показывал её без прикрас и благочестивых рассуждений. Однако именно эта честность и породила опасность, которой Макиавелли не желал. Его читатели, особенно наделённые деструктивными чертами характера, восприняли анализ не как предостережение, а как инструкцию к действию. И начали применять его принципы с той же беспощадной эффективностью, с какой лев терзает свою жертву, не испытывая ни малейших угрызений совести.

Центральная идея Макиавелли, сделавшая его имя нарицательным, такова: правитель, чтобы сохранить власть и обеспечить стабильность государства, должен быть готов на-

рушать моральные нормы, если этого требуют обстоятельства. И в этом случае он не отвечает перед обычной моралью, потому что его долг перед государством превышает индивидуальные этические обязательства. Знаменитая формула о том, что государь должен уметь подражать и льву, и лисе, означает вот что. Он должен сочетать силу, способную подавить любое сопротивление, и хитрость, позволяющую обманывать врагов и конкурентов. Эти качества гораздо важнее для выживания, чем честность или доброта, которые в политике чаще всего оказываются помехой, а не помощью. Макиавелли не призывает быть жестоким ради жестокости. Он говорит, что иногда жестокость необходима и что правильно применённая жестокость способна предотвратить бóльшие страдания, чем ложное милосердие, которое только поощряет врагов, ослабляет власть и делает правителя уязвимым для заговоров и мятежей. В этом рассуждении есть своя логика, не лишённая трагического реализма. Но, вырванная из контекста и применённая без той осторожности, которую сам Макиавелли постоянно подчёркивал, она становится опаснейшим оружием в руках тех, кто и без того склонен к безжалостности и манипуляции.

Парадокс в том, что Макиавелли — человек высокой морали, искренне любивший свою родину, — создал концепцию, идеально приспособленную для оправдания самых низменных инстинктов. Этот разрыв между намерениями автора и восприятием его учения составляет одну из главных

трагедий интеллектуальной истории. Когда «Государя» читает человек с нарциссическими чертами, он видит подтверждение своей грандиозности и разрешение действовать без оглядки на чужие интересы. Принцип «цель оправдывает средства» он толкует так: его личная цель, его жажда власти и признания и есть та высшая цель, которая оправдывает любые средства. Когда трактат читает человек с макиавеллистическими наклонностями, он находит блестящее подтверждение своей интуитивной стратегии: люди слабы и легковерны, их можно обманывать и использовать, а цинизм — не порок, а добродетель, потому что позволяет видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким его хотят видеть наивные идеалисты. Когда же эту книгу берёт в руки человек с психопатическими чертами, он вообще не видит в ней никакой моральной проблемы. Для него мораль не существует, и советы Макиавелли он воспринимает как технические инструкции, столь же нейтральные, как руководство по ремонту автомобиля или по игре в шахматы.

Так маленькая книжка, написанная в тосканском поместье разочарованным дипломатом, стала одним из самых влиятельных текстов в истории западной политической мысли — и одновременно одним из самых опасных. Она легитимировала то, что всегда существовало в тени, и дала ему интеллектуальное обоснование. До Макиавелли тираны и узурпаторы действовали интуитивно, иногда испытывая чувство вины, иногда пытаясь оправдаться перед лицом истории. По-

сле Макиавелли они получили стройную систему аргументов, которая позволяла не только действовать без угрызений совести, но и гордиться своей безжалостностью как признаком реализма и зрелости. Сегодня, спустя пять столетий, мы продолжаем жить в тени этой интеллектуальной инверсии. Когда политик или бизнес-лидер говорит о «реалистичном подходе» к проблемам, когда он оправдывает свои неэтичные поступки «высшими соображениями» или «необходимостью», мы слышим отголосок макиавеллиевского аргумента. Он стал настолько привычным, что мы уже перестали его замечать и воспринимаем как нечто само собой разумеющееся.

Особенно опасным это макиавеллистское наследие становится в сфере образования и воспитания: именно здесь формируется отношение к цинизму как к признаку зрелости и ума. Подросток, только начинающий разбираться в политике, слышит от учителей, старших товарищей или из СМИ, что «наивно верить в честность политиков» и что «все они воруют и обманывают». И делает вывод: цинизм — не просто защитная реакция, а единственно возможная стратегия поведения в мире, где царят ложь и лицемерие. Он начинает считать, что быть честным, открытым и доверчивым — значит быть глупым и слабым. Что если он хочет добиться успеха, то и сам должен научиться манипулировать, врать и использовать людей в своих интересах. Этот переход от естественного для ребёнка доверия к миру к макиавеллистскому

цинизму происходит постепенно, но он практически неизбежен в культуре, которая постоянно напоминает, что мир жесток и доброта в нём не выживает. Такая культурная установка становится питательной средой для будущих деструктивных лидеров. Они выходят из школ цинизма с твёрдым убеждением: единственный способ добиться успеха — стать самым сильным, хитрым и безжалостным.

Именно поэтому наш фильтр должен быть направлен не только против конкретных проявлений деструктивного поведения, но и против той культурной установки, которая делает это поведение приемлемым и даже желательным. Мы не можем запретить читать Макиавелли — и не должны этого делать: его анализ политики содержит глубокие и важные истины, которые нельзя игнорировать. Но мы должны научиться читать его критически, видеть за его советами не приглашение к безнравственности, а предупреждение об опасностях, подстерегающих того, кто хочет сохранить власть и остаться человеком. Мы должны научить своих детей, что цинизм не синоним мудрости. Это защитный механизм, который часто принимает за реализм собственное бессилие перед сложностью мира. Настоящая зрелость заключается не в умении манипулировать другими, а в способности сохранять человечность в самых нечеловеческих обстоятельствах. И когда мы будем проверять будущих лидеров на склонность к макиавеллизму, мы будем проверять именно эту способность — готовность видеть в людях не пешек на шахматной

доске, а живых существ со своими чувствами, потребностями и правами. Их способность к эмпатии, которая является единственной реальной альтернативой циничному расчёту.

Ирония истории в том, что сам Макиавелли, автор циничного трактата, не был циником в личной жизни. Он был человеком страстным и идеалистичным, мечтал о великой Италии и был готов работать на благо родины, не требуя для себя никаких привилегий. Его письма друзьям полны остроумия, теплоты и искренней привязанности, и ничто в личной переписке не выдаёт того хладнокровного манипулятора, которого мы привыкли видеть в «Государе». Этот разрыв между публичным и частным, между теорией и практикой, между тем, что он писал о политике, и тем, как жил сам, — важное напоминание. Книга не равна её автору, и идеи, даже самые опасные, могут быть отделены от создателя и использованы совершенно не так, как задумывались. Но тот же разрыв напоминает и о другом: идеи имеют собственную жизнь и могут оказывать влияние, далеко выходящее за пределы авторских намерений. Именно это делает интеллектуальную историю такой сложной и такой непредсказуемой.

Когда мы сегодня, в XXI веке, сталкиваемся с политиками, которые говорят языком макиавеллистского реализма и оправдывают свои действия «государственной необходимостью», стоит помнить: за этой риторикой часто скрывается не глубокая политическая мудрость, а всего лишь дефицит эмпатии и неспособность видеть за абстрактными поня-

тиями живых людей с их судьбами и страданиями. Макиавеллизм, взятый как философия жизни, а не как аналитический инструмент, превращает человека в морального инвалида. Он умеет просчитывать варианты, но не умеет чувствовать чужую боль. Он способен достигать целей, но не способен радоваться достигнутому, потому что его внутренний мир остаётся пустым и холодным, несмотря на все внешние успехи. И наша задача как общества, стремящегося защитить себя от деструктивного лидерства, — создать систему проверок, которая распознавала бы этот внутренний холод, эту эмоциональную глухоту, этот цинизм под маской реализма. И не допускала бы таких людей к рычагам управления, какими бы блестящими они ни казались на первый взгляд. Опыт истории, включая ту её часть, которую мы подробно разобрали в предыдущих главах, убедительно показывает: цинизм в политике рано или поздно всегда приводит к катастрофе. Единственная реальная альтернатива ему — не наивный идеализм, а трезвое понимание человеческой природы, соединённое с искренней заботой о тех, кого касаются принимаемые решения. Именно эту комбинацию ума и сердца мы должны научиться выявлять и поощрять. Вместо того чтобы продолжать восхищаться теми, кто демонстрирует лишь холодный расчёт и железную волю, которые так легко принять за силу, но которые на самом деле являются симптомами внутренней пустоты и неспособности к подлинным человеческим отношениям.

ГЛАВА 7. НЕЙРОБИОЛОГИЯ СТРАХА

Когда Гай Юлий Цезарь переходил Рубикон, он, согласно свидетельствам современников, колебался всего несколько секунд. Затем произнёс знаменитое «жребий брошен» и двинул свои легионы на Рим, нарушив закон, запрещающий полководцу вступать в пределы города с оружием. Этот поворотный момент античной истории интересен для нас не столько политическими последствиями, сколько психологическим состоянием Цезаря и его солдат. Решение перейти через маленькую речку было принято не на холодную голову, а в обстановке острого кризиса, когда каждый из присутствующих отдавал себе отчёт: обратного пути не будет, за этим шагом последует либо триумф, либо гибель. Исследователи, изучавшие поведение людей в экстремальных ситуациях, установили важную закономерность, прямо связанную с нашей темой. В момент острого стресса и неопределённости человеческий мозг перестаёт работать в привычном режиме. Он переключается на древние, архаичные алгоритмы, которые управляли поведением наших далёких предков задолго до того, как появились первые государства и письменные законы.

Это переключение происходит не по нашей воле. Оно является автоматической реакцией на угрозу и подчиняется тем же законам, что и поведение животного, которое замирает при виде хищника или, наоборот, бросается в атаку, не думая о последствиях. В центре механизма находится

небольшая структура в глубине мозга — миндалевидное тело, или амигдала. Она выполняет функцию первичного сканера угроз: анализирует поступающую извне информацию и мгновенно определяет, представляет ли та опасность для выживания организма. Зафиксировав признак угрозы, амигдала посылает сигнал тревоги по всей нервной системе. Следует выброс гормонов стресса, учащение сердцебиения, напряжение мышц, сужение зрачков и целый ряд других физиологических изменений, подготавливающих тело к реакции «бей или беги». Но самое важное для нашего анализа другое. Активация амигдалы временно подавляет деятельность префронтальной коры — той области мозга, которая отвечает за планирование, логическое мышление, самоконтроль и способность рассматривать альтернативные варианты. Это подавление делает человека неспособным к сложному анализу ситуации и вынуждает принимать быстрые, часто примитивные решения, основанные на самых очевидных и доступных сигналах.

Этот биологический механизм, отточенный миллионами лет эволюции, был абсолютно адекватным в условиях, в которых жили наши предки. Охотнику-собирателю, столкнувшемуся с саблезубым тигром, некогда было размышлять, почему тигр появился в этом месте и какие у него могут быть мотивы. Нужно было действовать мгновенно, иначе он становился обедом. Однако в сложном современном обществе угрозы имеют не биологический, а социальный и полити-

ческий характер, и «хищниками» являются не животные, а другие люди с их интересами и амбициями. Здесь древний механизм оказывается не просто бесполезным, но и крайне опасным: он заставляет нас выбирать самые простые и эмоционально заряженные решения, которые часто оказываются ошибочными и ведут к катастрофическим последствиям. Именно этот эволюционный баг — несоответствие между древней архитектурой нашего мозга и современной социальной средой — делает нас такими уязвимыми перед деструктивными лидерами, умеющими искусно использовать наши инстинкты и направлять наше поведение в нужное им русло.

Когда общество входит в состояние кризиса — экономический коллапс, военная угроза, эпидемия, социальный хаос, — уровень страха в коллективном сознании резко возрастает. Страх активизирует те же нейробиологические механизмы, что действуют в мозге отдельного человека, только теперь они работают на уровне целых групп, создавая феномен коллективной амигдалы. В такой ситуации миллионы людей одновременно перестают доверять сложным анализам. Они теряют интерес к долгосрочным программам и абстрактным идеям, хотят слышать простые и понятные ответы на свои страхи, ищут лидера, который говорил бы с ними на языке инстинктов, а не разума. И готовы принять самые жёсткие меры, если им пообещают, что эти меры восстановят безопасность и порядок. Этот психологический сдвиг описан множеством историков и социологов, изучавших пери-

оды массовых кризисов, и проявляется с удивительным постоянством в самых разных культурах и эпохах. На сцену выходят харизматические фигуры, которые не предлагают нюансированных решений, а обещают простые и радикальные изменения, избавляющие общество от страхов и неопределённости.

Исследования последних десятилетий показали: в кризисных ситуациях избиратели бессознательно отдают предпочтение кандидатам, демонстрирующим черты маскулинной доминантности — уверенность, решительность, жёсткость и даже агрессивность. И склонны игнорировать эмпатию, способность к компромиссу, готовность признавать собственные ошибки, которые в стабильные времена часто воспринимаются как признаки слабости, а не как достоинства. Этот феномен, получивший название «эффект лидера в кризис», был экспериментально подтверждён в нескольких лабораторных исследованиях. Испытуемым показывали фотографии политических кандидатов и просили оценить их пригодность для руководства в условиях мира и в условиях войны. Каждый раз результат был одинаков: в кризисной ситуации люди выбирали более грубые лица с более выраженными маскулинными чертами, даже если те же самые лица в спокойной обстановке казались им менее привлекательными. Более того, нейровизуализация показала, что при восприятии таких лиц у испытуемых активизируется именно амигдала, а не кора головного мозга. Это означает, что реше-

ние принимается на подсознательном уровне — до того, как человек успевает его осознать и рационально обосновать.

Деструктивные лидеры с чертами «Тёмной триады» — идеальный продукт этого эволюционного механизма. Они интуитивно понимают, как работает коллективный страх, и умеют использовать его для собственного возвышения. Нарцисс, искренне верящий в свою гениальность и непогрешимость, выглядит в глазах испуганной толпы спасителем, который знает ответы на все вопросы и не сомневается в правильности курса. Его уверенность, подкреплённая отсутствием внутренних конфликтов, создаёт впечатление силы и надёжности — именно того, что так необходимо людям, потерявшим чувство безопасности. Макиавеллист прекрасно понимает психологию толпы и её потребность в простых решениях. Он сознательно формирует имидж человека железной воли, который не боится непопулярных решений и готов идти на жертвы ради великих целей. Эта риторика находит живой отклик у тех, кто устал от неопределённости и готов принять любую, даже самую суровую определённость в обмен на чувство контроля над ситуацией. Психопат вообще не способен испытывать страх и не понимает страха других. Он выступает как идеальный «кризисный менеджер»: его решения не отягощены эмоциями, он действует хладнокровно и эффективно. И эта эмоциональная холодность часто воспринимается окружающими как признак выдающегося самообладания и силы духа.

Однако эффект этого биологического механизма не ограничивается выбором определённого типа лидера. Он меняет саму структуру политического дискурса, делая его более примитивным, эмоциональным и враждебным. В кризисной ситуации выступления, насыщенные сложными аргументами и ссылками на статистику, оказываются менее эффективными, чем простые и многократно повторяемые лозунги. Лозунги воздействуют непосредственно на эмоциональный центр мозга и обходят сознательный анализ. Язык становится более метафоричным, более образным, он оперирует категориями «свой — чужой», «друг — враг», «спасение — гибель». Это бинарное мышление, столь характерное для амигдаларной реакции, вытесняет сложную картину мира, где существуют полутона и компромиссы. Политики, умеющие говорить на таком эмоциональном языке, получают колоссальное преимущество перед теми, кто пытается объяснять избирателям тонкости экономической политики или международных отношений. В кризисной ситуации люди не хотят понимать тонкости — они хотят чувствовать, что их ведут и что у ведущего есть ответы на все их вопросы.

Эта динамика создаёт парадоксальную ситуацию. Наиболее эффективные в краткосрочной перспективе действия деструктивного лидера — подавление оппозиции, ограничение гражданских свобод, разжигание конфликтов с внешними врагами — одновременно являются наиболее разрушительными в долгосрочной, потому что углубляют кризис

и создают почву для ещё больших потрясений. Но именно краткосрочная эффективность и есть главный механизм, с помощью которого «Тёмная триада» захватывает власть и удерживает её вопреки всем своим очевидным недостаткам и просчётам. Когда лидер, действуя жёстко и решительно, действительно подавляет хаос и восстанавливает видимость порядка, его популярность стремительно растёт. Он получает кредит доверия, позволяющий предпринять следующие, ещё более радикальные шаги. Круг замыкается. Общество, которое в начале кризиса искало защиты, оказывается в ловушке, из которой практически невозможно вырваться без серьёзных потрясений.

С точки зрения нейробиологии этот процесс можно описать как патологическую адаптацию. Мозг учится воспринимать авторитарное управление как нормальное состояние, и любое отклонение от него — даже в сторону большей свободы и демократии — начинает восприниматься как угроза, потому что нарушает привычную стабильность. Адаптация происходит на уровне самых базовых нейронных сетей, формирующих наше восприятие мира и эмоциональную реакцию на события. Она чрезвычайно устойчива к изменениям, потому что подкрепляется постоянным потоком сигналов от внешней среды, которая остаётся нестабильной и опасной. Именно поэтому общества, пережившие длительные периоды авторитарного правления, часто не могут вернуться к демократическим институтам даже после краха диктатуры.

Их нервная система — и коллективная, и индивидуальная — была перестроена под другие условия. Переход к свободе требует не только политических реформ, но и глубокой психологической перестройки, которая может занять целое поколение.

Какое же практическое значение имеет этот анализ для нашего проекта фильтра власти? Во-первых, он показывает, что проблема деструктивного лидерства имеет не только социальные и политические, но и глубокие биологические корни. Её нельзя решить простыми запретами или институциональными изменениями: мы имеем дело с механизмами, действующими на уровне подсознания. Во-вторых, он подсказывает, что эффективный фильтр должен учитывать не только психологические и моральные качества кандидатов, но и их способность противостоять соблазнам кризисного управления, их готовность не поддаваться инстинктивным реакциям и сохранять ясность мышления в стрессовых ситуациях. В-третьих, он предупреждает: в момент кризиса наше собственное восприятие будет искажено. Мы будем склонны выбирать не тех, кто действительно нужен обществу, а тех, кто лучше соответствует нашим инстинктивным ожиданиям. Именно в такие моменты нужно быть особенно бдительными и опираться не на эмоции, а на процедуры и проверки, заранее спроектированные для защиты от нашей собственной биологии.

Отсюда важный стратегический вывод. Мы не можем

ждать кризиса, чтобы начать строить систему защиты: в кризисе наша способность к рациональным решениям будет подавлена, и мы будем действовать под влиянием тех же инстинктов, которые и привели нас к катастрофе. Фильтры нужно строить заранее, в спокойные времена, когда мозг ещё способен к сложному анализу, когда мы ещё можем рассматривать альтернативы и обсуждать их без того накала страстей, который неизбежно возникает в момент угрозы. Мы должны встраивать эти фильтры в конституцию, в избирательное законодательство, в образовательные программы, в культурные практики — чтобы они работали автоматически, когда наступит час испытания, и чтобы нам не приходилось принимать решения в тот момент, когда разум затуманен страхом и тревогой.

Мы также должны научиться распознавать в себе сигналы амигдалы, заставляющие нас выбирать деструктивных лидеров. И вырабатывать навык паузы — навык остановки между стимулом и реакцией, чтобы дать мозгу время включить префронтальную кору и начать анализировать ситуацию, а не просто реагировать на неё. Эта способность к осознанному самонаблюдению, которую в разных культурах называют по-разному — от стоической безмятежности до буддийской внимательности, — ключевой элемент нашего внутреннего фильтра. Того самого внутреннего цензора, который не даёт поддаться на манипуляции и помогает сохранять верность своим ценностям даже в самых тяжёлых обстоятель-

ствах. Внутренний фильтр не может заменить внешних институциональных механизмов, но является их необходимым дополнением: никакие законы и процедуры не защитят общество, если его граждане не обладают способностью к критическому мышлению и к сопротивлению инстинктивным реакциям.

В конечном счёте нейробиология страха подводит нас к тому же выводу, к которому мы пришли, анализируя историю, религию, культуру и философию. Человеческий мозг, при всех его блестящих возможностях, остаётся уязвимым инструментом, который легко взломать правильно подобранными стимулами. Эта уязвимость делает нас постоянной мишенью для тех, кто стремится к власти ради власти. Но если мы понимаем механизм взлома, мы можем построить защиту от него. Не пытаясь изменить человеческую природу, которую изменить не в силах, а создавая внешние барьеры, компенсирующие нашу внутреннюю слабость и не позволяющие деструктивным лидерам использовать наши инстинкты против нас самих. Возможно, это и есть самый важный вклад нейробиологии в общую борьбу за здоровую и этичную власть — власть, которая не паразитирует на наших страхах, а помогает их преодолевать, опираясь на разум, эмпатию и солидарность.

ГЛАВА 8. СДЕЛКА ЭЛИТ С ДЬЯВОЛОМ

История знает множество примеров того, как правящие классы, чувствуя угрозу своему положению со стороны вос-

ставшего народа или внешнего врага, делали ставку на харизматичного аутсайдера. Он обещал восстановить порядок и защитить их привилегии — а в конечном счёте сам становился их могильщиком. Этот сюжет, повторяющийся с удивительной регулярностью на протяжении тысячелетий, заслуживает самого пристального внимания. Он раскрывает одну из главных слабостей элитарного сознания: неспособность предвидеть последствия собственных действий и склонность к близорукой тактической выгоде, которая оборачивается стратегической катастрофой. Римские сенаторы, обеспокоенные растущим влиянием Гая Мария или Цезаря, сначала поддерживали их как инструмент против своих политических врагов. А затем с ужасом обнаруживали, что создали монстра, которого уже невозможно контролировать. Они становились жертвами той самой иллюзии, которая будет мучить элиты всех последующих эпох: будто деструктивную силу можно использовать в своих целях, а затем безопасно отбросить в сторону.

Механизм этой сделки выглядит почти как ритуал, неизменный в основных чертах, несмотря на все различия культур, эпох и социальных систем. Вначале возникает кризис, угрожающий положению правящего класса: экономический коллапс, военное поражение, восстание низов или просто потеря доверия общества к существующим институтам. Элиты, осознавая свою неспособность справиться с кризисом старыми методами, начинают искать внешнюю силу, которая

вывела бы их из тупика. Их выбор часто падает на человека не из их круга — не связанного с ними общими интересами и не разделяющего их систему ценностей. Как правило, он обладает яркой харизмой, умеет говорить с массами на их языке и обещать то, чего не могут обещать старые политики, скованные существующими институтами и правилами игры. Элиты видят в нём не угрозу, а возможность. Они воспринимают его как временного союзника, которого можно использовать для подавления мятежа или реформирования системы, а затем отправить в отставку, как только он выполнит свою функцию.

В этой точке и происходит первая, самая фундаментальная ошибка, которая станет началом конца для всех, кто решил вступить в игру. Макиавеллистический лидер, в отличие от своих покровителей, не рассматривает власть как временную должность или как средство достижения определённых целей. Он рассматривает её как самоцель, как высшую ценность, ради которой стоит рисковать всем и жертвовать всеми — включая тех, кто привёл его к власти. Его ум работает совершенно иначе, чем ум элитного деятеля, воспитанного в традициях компромисса, умеренности и уважения к установленным правилам. Его не сковывают никакие моральные ограничения: он не верит в справедливость, не признаёт авторитетов и не испытывает благодарности к тем, кто помог ему подняться. Он смотрит на покровителей не как на союзников, а как на временные ступеньки на пути к цели. И

как только чувствует, что достаточно укрепил позиции, без колебаний избавляется от них — теми же методами, которые они помогли ему освоить и применить против общих врагов.

Этот поворотный момент — момент истины сделки с дьяволом — всегда происходит неожиданно для элит. Они привыкли, что в политике существует определённая предсказуемость и что партнёры, заключившие сделку, будут придерживаться её условий. Но макиавеллистический лидер воспринимает сделку не как договор, а как тактический манёвр для достижения своих целей. Его готовность нарушить любые обещания и предать любых союзников становится для элит шоком, от которого они уже не могут оправиться. Сначала они пытаются образумить бывшего протеже, напоминая ему, кому он обязан своим возвышением. Но эти попытки лишь укрепляют его в мысли, что элиты слабы и не способны противостоять ему: они всё ещё играют по старым правилам, которые он давно отбросил как бесполезные. Затем они начинают искать способы его сместить, создавая заговоры и коалиции. Но к этому моменту он уже успел создать собственные параллельные структуры — верную ему армию, полицию или партийный аппарат. Эти структуры не подчиняются старой системе и готовы выполнять любые его приказы, включая приказы об аресте и казни бывших хозяев.

Исторический материал даёт множество ярких иллюстраций этого процесса, и все они, при всём разнообразии, подчиняются одной логике — логике обратного удара. В Древ-

нем Риме сенаторы поддерживали Тиберия Гракха в его аграрных реформах, надеясь использовать его популярность против консервативной оппозиции. И с ужасом обнаружили, что Гракх не собирается быть их марионеткой, а его радикализм угрожает их собственным земельным владениям и социальному статусу. Остановить его было уже невозможно; только физическое устранение смогло предотвратить катастрофу — которая всё равно произошла, потому что убийство Гракха развязало гражданскую войну, в конечном счёте погубившую Республику. Спустя столетие та же ошибка была повторена с Цезарем. Сенат, опасавшийся влияния Помпея, поддержал его в консульской карьере. Но когда Цезарь перешёл Рубикон и двинулся на Рим, те, кто когда-то помогал ему, оказались первыми в списке его врагов, и многие из них погибли или бежали, спасая свои жизни.

В более близкое к нам время этот механизм работал с удивительной точностью в самых разных странах и контекстах. И каждый раз приводил к одним и тем же результатам, которые можно свести к нескольким пунктам. Во-первых, элиты, вступающие в сделку с деструктивным лидером, неизбежно теряют контроль над процессом. Они исходят из своей системы ценностей и своего понимания политики, а лидер — из совершенно иной, чуждой им логики, в которой нет места доверию, благодарности или сдержанности. Во-вторых, создаваемые ими параллельные структуры власти — вооружённые формирования, партийные аппараты, пропагандист-

ские машины — очень быстро выходят из-под контроля и начинают работать на своего создателя. Их функционеры понимают, что личная карьера зависит не от старых элит, а от нового лидера, и готовы выполнять любые его указания, даже направленные против бывших хозяев. В-третьих, сама логика кризиса, побудившая элиты искать внешнюю силу, начинает работать против них. Лидер постоянно поддерживает состояние перманентной угрозы, чтобы оправдывать чрезвычайные полномочия и не допускать возврата к нормальной политической жизни, которая неизбежно привела бы к его отстранению.

Можно задаться вопросом: почему элиты снова и снова попадают в эту ловушку, хотя история даёт им столько наглядных примеров? Ответ, как мне кажется, лежит не столько в области политического расчёта, сколько в области психологии и даже нейробиологии, которую мы начали обсуждать в предыдущей главе. Элиты, как и любые другие люди, подвержены когнитивным искажениям, которые искажают восприятие реальности и мешают видеть угрозы, не вписывающиеся в их картину мира. Одно из таких искажений — эффект «мы — они». Элиты воспринимают деструктивного лидера как «другого», как человека не их круга, чьи действия, какими бы радикальными они ни были, всё равно остаются в рамках привычной политической игры. Они не могут представить, что кто-то способен действовать совершенно без правил, без ограничений, без того внутреннего

цензора, который есть у них самих. И потому недооценивают масштаб угрозы и переоценивают свою способность контролировать ситуацию.

Другой важный фактор — давление сиюминутной выгоды, которое перевешивает все долгосрочные соображения и заставляет элиты закрывать глаза на риски, связанные с поддержкой амбициозного аутсайдера. Когда выбор стоит между сохранением текущего положения и риском потерять всё в случае неудачи, элиты инстинктивно выбирают первое — даже если это означает поддержку человека, который в будущем может стать их могильщиком. Этот феномен, известный в психологии как «близорукость в условиях угрозы», заставляет принимать решения, которые в краткосрочной перспективе кажутся рациональными, а в долгосрочной оказываются катастрофическими. И особенно сильно он проявляется именно у тех, кто привык принимать решения с далеко идущими последствиями.

Здесь мы подходим к главному выводу, который этот исторический и психологический анализ даёт для нашего проекта. Если мы хотим предотвратить появление деструктивных лидеров, нужно создать институциональные механизмы, делающие сделку элит с дьяволом невыгодной и даже невозможной. Механизмы, которые блокируют доступ к власти для аутсайдеров, не прошедших через систему проверок, — независимо от того, какое давление оказывают элиты и какие соблазны они предлагают. Мы не можем положиться на мо-

ральное здоровье или политическую мудрость элит. История показывает, что и то и другое часто оказывается под угрозой в моменты кризиса и что даже самые опытные и умные люди способны совершать роковые ошибки, когда их интересы под давлением. Поэтому мы должны встроить в саму конструкцию политической системы независимые комиссии по этической проверке кандидатов, обязательное психологическое тестирование для ключевых должностей и прозрачную процедуру отбора. Таковую, которая не позволит ни одному человеку с деструктивными чертами пройти наверх, даже если его поддерживают самые могущественные силы в стране.

Конечно, можно возразить: элиты всегда найдут способ обойти любые институциональные барьеры, если у них будет достаточная мотивация. В этом возражении есть доля истины. Но задача фильтра не в том, чтобы создать абсолютно непроницаемую защиту, которую никогда нельзя взломать. Задача — поднять барьер настолько, чтобы проникновение деструктивных лидеров стало дорогим, рискованным и маловероятным. Чем сложнее и прозрачнее процедура проверки, тем труднее элитам использовать аутсайдера как инструмент: ему придётся пройти через горнило независимых экспертов, которые не подчинятся давлению и чьи заключения будут доступны общественности. Эта прозрачность сама по себе является мощным сдерживающим фактором. Она делает сделку видимой для всех и лишает элиты возможности действовать в тени, где они чувствуют себя наиболее ком-

фортно и где привыкли принимать свои самые опасные решения.

В конечном счёте сделка элит с дьяволом — одна из самых устойчивых и опасных патологий политической жизни. Она воспроизводится снова и снова, несмотря на все предостережения истории, потому что затрагивает самые глубокие инстинкты и самые сильные страхи тех, кто находится у власти. Мы не можем искоренить эти инстинкты и страхи. Мы не можем превратить элиты в безупречно рациональных и альтруистических существ, какими они никогда не были и не будут. Но мы можем создать такие правила игры, которые ограничат их способность вступать в разрушительные союзы и защитят общество от последствий. В этом смысле фильтр власти, который мы проектируем, является не только инструментом отбора отдельных кандидатов, но и инструментом институциональной профилактики. Он делает самый опасный политический грех — передачу власти деструктивной личности в обмен на сиюминутную выгоду — максимально трудным и невыгодным для всех участников этой смертельной игры.

ГЛАВА 9. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

Предыдущие главы были посвящены тому, как деструктивные лидеры проникают во власть, используя исторические механизмы, культурные архетипы, нейробиологические уязвимости и наивность правящих элит. Теперь мы должны обратиться к тому, что происходит после того, как такой ли-

дер оказывается у руля. И к условиям, которые позволяют ему не только захватить власть, но и удерживать её десятилетиями, несмотря на очевидные провалы политики и сопротивление противников. Центральным понятием для этого анализа станет то, что я предлагаю называть институциональным вакуумом. Это состояние политической системы, в котором все сдерживающие механизмы, созданные для ограничения произвола власти, оказываются либо разрушенными, либо подчинёнными воле одного человека и узкой группы его приближённых. Единственным источником легитимности становится не закон, а воля лидера, не право, а сила, не процедура, а результат.

Представьте здание, построенное по всем правилам инженерного искусства: прочный фундамент, несущие стены, перекрытия, система коммуникаций. И представьте, что в нём поселяется человек, который начинает методично выбивать опорные балки, одну за другой, объясняя это тем, что старые конструкции мешают провести современный ремонт и сделать здание удобнее для жизни. Сначала он заменяет одни двери, потом другие. Потом сносит внутренние перегородки, чтобы расширить пространство. Потом убирает несколько колонн, потому что они загромождают вид. И наконец, когда все несущие элементы удалены, здание рушится — не сразу, а постепенно, с гулким скрежетом, который слышат все обитатели. Но никто не может понять, почему это произошло: каждый отдельный шаг казался разумным и даже

необходимым. Так же работает и разрушение институтов при деструктивном лидере. Ни одно отдельное действие не выглядит катастрофическим, каждое имеет своё объяснение и даже некоторое оправдание. Но сумма этих действий приводит к полному коллапсу системы, после которого восстановить её становится почти невозможно.

Начать разрушение институтов проще всего с тех, что непосредственно связаны с контролем над информацией и формированием общественного мнения. Именно здесь лидер находит своих главных врагов и одновременно самых полезных союзников. Независимая пресса создана веками борьбы за свободу слова и служит главным стражем демократии: она способна выявлять злоупотребления властью и информировать о них общественность. Она оказывается под систематическим давлением, которое принимает самые разные формы — от экономического удушения через лишение рекламных контрактов до прямого запугивания журналистов и физической расправы над наиболее неговорчивыми. На смену независимым изданиям приходят лояльные медиа. Они публикуют только удобные власти новости и превращают своих читателей в пассивных потребителей пропаганды, неспособных отличить факты от вымысла и критически оценивать происходящее. Постепенно граница между реальностью и вымыслом стирается. Общество начинает жить в параллельной вселенной, где победы становятся поражениями, поражения — победами, а любые альтернатив-

ные точки зрения объявляются враждебными и подлежащими искоренению.

Параллельно с контролем над информацией идёт разрушение судебной системы. В любом правовом государстве суд является главным арбитром в спорах между властью и гражданами и должен гарантировать, что даже самый высокопоставленный чиновник не может нарушать закон безнаказанно. Деструктивный лидер понимает: независимый суд — его главный противник, потому что только суд может объявить его действия незаконными и привлечь к ответственности. И потому он начинает постепенно подчинять судебную систему себе: назначает на ключевые должности лояльных судей, меняет ограничивающие его власть законы, создаёт параллельные судебные инстанции, которые действуют по его указанию и выносят нужные ему решения. В результате суд перестаёт быть защитником прав граждан и превращается в инструмент подавления оппозиции — в машину для производства приговоров, которые утверждают волю власти и наказывают любого, кто осмеливается ей перечить, даже если он действует в полном соответствии с буквой и духом закона. Граждане, когда-то верившие, что могут найти защиту в суде, теперь понимают: суд на стороне тех, кто его контролирует. И теряют последнюю надежду на справедливость, не зависящую от прихоти правителя.

Разрушение парламента и других представительных органов — третий и, возможно, наиболее зримый этап процесса.

Именно здесь деструктивный лидер сталкивается с самым организованным сопротивлением и должен проявить наибольшую изобретательность, чтобы его сломить. Первым шагом обычно становится лишение парламента законодательных полномочий: в условиях кризиса, объясняют нам, требуется быстрое и решительное действие, которое медленная и обременительная парламентская процедура обеспечить не может. За этим следуют чистки. Наиболее независимые и принципиальные депутаты либо арестовываются, либо лишаются мандатов под надуманными предлогами, либо запугиваются до такой степени, что теряют способность к сопротивлению и превращаются в послушных утвердителей любых решений исполнительной власти. На месте старого парламента, который был ареной дискуссий и столкновения точек зрения, возникает новый орган. Он может называться как угодно — «национальное собрание», «народный совет», — но по сути это лишь декорация, призванная создавать видимость легитимности для решений, принятых единолично лидером или его ближайшим окружением.

Особенно показательно, как деструктивный лидер действует против институтов, созданных для защиты прав человека, — продукта многовекового развития демократической мысли. Правозащитные организации в нормальных условиях служат голосом тех, кто не может защитить себя сам, и выполняют важнейшую функцию социального мониторинга. Их объявляют «иностранными агентами» или «врагами

народа», их деятельность ограничивают, их руководителей преследуют. Постепенно они теряют способность выполнять свои функции, а затем и сам смысл существования. Профсоюзы, созданные для защиты прав трудящихся и в некоторых странах бывшие важным элементом политической системы, либо подчиняются власти и превращаются в её придаток, либо подавляются и перестают существовать как независимые организации. Университеты и академические институты, бывшие оплотом свободной мысли и независимого исследования, оказываются под жёстким идеологическим контролем. Любое исследование, способное поставить под сомнение официальную доктрину, запрещается или лишается финансирования. А учёные, отказывающиеся подчиняться новым правилам, вынуждены покидать страну или отречься от своих убеждений ради сохранения должности.

Все эти процессы, взятые вместе, и создают то состояние институционального вакуума, о котором я говорил в начале главы. Оно характеризуется полным отсутствием сдержек и противовесов, ограничивающих власть лидера. В этом вакууме лидер становится единственным источником всех решений, единственным арбитром всех споров, единственным толкователем всех законов. Его воля, какой бы произвольной и изменчивой она ни была, становится высшим законом, которому должны подчиняться все граждане и все институты, независимо от их статуса и полномочий. Даже самые простые процедуры — выборы, бюджетный процесс, назначение

на должности — перестают быть предметом общественного контроля. Они превращаются в инструменты манипуляции, служащие укреплению власти лидера и устранению его противников, а не выражению воли народа или обеспечению эффективного управления.

Но самое опасное в институциональном вакууме не то, что он позволяет деструктивному лидеру творить произвол. Самое опасное — что он разрушает саму способность общества к самоорганизации и сопротивлению. Когда все институты, которые могли бы служить опорой для оппозиции, разрушены или подчинены, когда суд не может защитить права граждан, пресса — информировать общественность, парламент — контролировать исполнительную власть, а профсоюзы и правозащитные организации — защищать своих членов, общество оказывается атомизированным. У него не остаётся структур, на которые можно было бы опереться в борьбе за свои права и свободы. Каждый человек остаётся один на один с машиной власти, которая обладает неограниченными ресурсами и не связана никакими правилами. Эта асимметрия делает любую форму сопротивления практически невозможной: тот, кто попытается выступить против власти, рискует не только свободой, но и жизнью, и при этом не имеет никакой гарантии, что его усилия приведут к чему-то большему, чем личная трагедия.

Если не остановить этот процесс на ранних стадиях, он становится необратимым. Созданный им вакуум начинает

жить собственной жизнью и воспроизводить себя через механизмы, которые уже не зависят от воли отдельных людей — включая волю самого лидера, всё больше становящегося заложником созданной им системы. Бюрократия, созданная для выполнения его распоряжений, быстро превращается в самостоятельную силу со своими интересами. Она стремится сохранить свой статус и привилегии, даже если это противоречит желаниям лидера. Пропагандистская машина, задуманная как инструмент манипуляции общественным мнением, начинает искажать восприятие даже самого лидера: его окружение перестаёт сообщать правдивые данные о положении дел в стране, опасаясь гнева и предпочитая говорить то, что он хочет услышать. В этом замкнутом круге, где никто не говорит правды и никто её не слышит, принимаются решения с катастрофическими последствиями для всей страны. Отменить их невозможно: для этого пришлось бы признать ошибочность предыдущих решений, а значит — признать некомпетентность или нечестность тех, кто их принимал.

Для нас, проектирующих фильтр власти, анализ институционального вакуума даёт несколько критически важных уроков. Во-первых, фильтр не может ограничиваться проверкой кандидатов на этапе прихода к власти. Он должен включать механизмы постоянного мониторинга и раннего предупреждения, фиксирующие попытки лидера разрушать институты и создавать собственный аппарат контроля. Во-

вторых, нужны институциональные структуры, максимально устойчивые к захвату, с автономными источниками легитимности, не зависящими от исполнительной власти, — например, через независимые процедуры назначения и финансирования, защищённые от политического давления. В-третьих, нужна система «красных флагов». Она срабатывала бы при обнаружении признаков институционального разрушения и запускала автоматические процедуры реагирования — внеочередные выборы, референдумы, внешний аудит, — которые невозможно заблокировать или проигнорировать без явного нарушения закона.

Особое внимание должно быть уделено защите тех институтов, которые наиболее уязвимы для атак деструктивного лидера и одновременно наиболее важны для сохранения демократического порядка. Судебная система должна быть защищена пожизненными назначениями, независимыми процедурами отбора и невозможностью увольнения без сложной процедуры импичмента, требующей согласия нескольких ветвей власти. Средства массовой информации — системой общественного финансирования, не зависящей от правительственных грантов, и юридической защитой журналистов, которых нельзя привлечь к ответственности за публикации, соответствующие стандартам профессиональной этики. Парламент — правом самостоятельно определять свою повестку дня и процедурами, ограничивающими возможность исполнительной власти распустить его без проведения

новых выборов. А гражданское общество — законодательством, которое гарантирует свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений.

В конечном счёте борьба против институционального вакуума — это борьба за саму структуру власти, за те правила игры, которые делают возможным существование открытого и демократического общества, где власть ограничена законом и подотчётна гражданам. Деструктивный лидер не может существовать в среде, где все институты работают независимо и где каждый его шаг контролируется и проверяется. Поэтому его главная задача — создать вакуум, в котором он мог бы действовать без ограничений и без ответственности. И потому наша задача — не допустить создания этого вакуума. Сделать институты максимально прочными и независимыми. Создать систему, в которой даже самый харизматичный и решительный лидер не смог бы нарушить правила игры, не столкнувшись с непреодолимыми препятствиями и не вызвав автоматической реакции механизмов, заранее встроенных в конструкцию политической системы. Если мы сможем создать иммунную систему общества, реагирующую на любые попытки разрушения институтов так же быстро и эффективно, как наша биологическая иммунная система реагирует на вторжение инфекции, — мы сделаем первый и самый важный шаг. Власть перестанет быть пристанищем для психопатов, нарциссов и макиавеллистов и станет инструментом служения тем целям, ради которых была со-

здана: безопасности, процветанию и свободе всех граждан, а не только тех, кто стоит на её вершине.

ГЛАВА 10. ЦЕНА ИМПЕРИИ ТЕНЕЙ

Когда рушатся институты, когда суд перестаёт быть независимым, пресса превращается в рупор пропаганды, а парламент — в декорацию, происходит нечто более страшное и более необратимое, чем просто политическая трансформация. Происходит распад социальной ткани — того невидимого клея, который удерживает людей вместе, позволяет им доверять друг другу, сотрудничать и строить общие проекты, несмотря на все различия в интересах и взглядах. Этот клей социологи называют социальным капиталом. Возможно, это самый ценный ресурс любого общества: без него невозможно ни эффективное управление, ни экономическое развитие, ни устойчивое существование в долгосрочной перспективе. И когда деструктивный лидер, стремясь укрепить свою власть, начинает систематически разрушать этот клей, подрывая доверие между людьми и создавая атмосферу всеобщей подозрительности, он наносит ущерб, который не поддаётся измерению в денежных единицах. Ущерб, который будет ощущаться ещё долгие десятилетия после того, как его собственная власть закончится.

Механизм этого разрушения удивительно прост и одновременно чрезвычайно эффективен. Он начинается с того, что власть перестаёт быть предсказуемой, перестаёт следовать правилам, понятным и приемлемым для большинства

граждан. Вместо закона, действующего одинаково для всех, приходит воля лидера. Она может меняться в зависимости от его настроения, от его интересов, от желания наказать или вознаградить того или иного человека. Эта непредсказуемость порождает страх. Никто не может быть уверен, что завтра его не постигнет участь соседа или коллеги, которого вчера арестовали или уволили за то, что казалось невинной шуткой или просто неосторожным словом. И этот страх, как мы уже говорили, активизирует самые древние и примитивные механизмы нашего мозга. Он заставляет искать безопасности в подчинении и в избегании любых действий, способных привлечь внимание власти, — даже если эти действия абсолютно законны и безобидны.

Но страх сам по себе не был бы таким разрушительным, если бы его не дополнял другой, не менее важный механизм — моральная дезориентация. Власть постоянно демонстрирует, что не следует правилам, которые сама же установила: нарушает обещания, игнорирует законы, меняет позицию по любому вопросу без всяких объяснений. И граждане постепенно перестают верить, что мораль имеет какое-то значение в публичной жизни. Они видят: те, кто нарушает правила, не только не наказываются, но и получают привилегии, повышения по службе, доступ к ресурсам и влиянию. И делают логичный, хотя и трагический вывод — соблюдение правил есть признак слабости и глупости, а не добродетели. Однажды сделанный, этот вывод распространяется на все сферы

жизни: от политики до экономики, от образования до семейных отношений. Люди начинают вести себя в соответствии с новой этикой, которая гласит: успех важнее честности, хитрость важнее принципов, а в мире, где все обманывают, честный человек обречён на поражение.

Здесь мы подходим к одному из самых болезненных и одновременно самых важных аспектов институционального вакуума. Он трансформирует структуру повседневных социальных взаимодействий и делает невозможным то, что в нормальных условиях кажется естественным и само собой разумеющимся. Когда разрушено доверие к власти, начинает разрушаться и доверие к другим людям. Власть в сознании граждан служит моделью для всех прочих отношений. Если власть обманывает — почему не должен обманывать сосед или коллега? Если власть использует людей в своих интересах — почему я должен помогать другому, не требуя ничего взамен? Если власть не уважает свои обещания — почему я должен держать своё слово? Эта цепная реакция начинается с одного сломанного обещания или одного несправедливого решения и быстро охватывает всё общество. Вскоре каждый начинает смотреть на каждого как на потенциального врага или по крайней мере как на потенциального обманщика, которому нельзя доверять.

Именно в этом контексте возникает феномен, который я называю культурой лицемерия. Это один из самых характерных признаков общества, живущего под деструктивной вла-

стью. Внешне такое общество может выглядеть вполне нормально и даже процветающе. Люди ходят на работу, дети — в школу, магазины торгуют, улицы патрулируют полицейские, и всё это создаёт иллюзию стабильности и порядка. Но под внешней оболочкой идёт совершенно иная жизнь, управляемая совсем не теми правилами, которые декларируются публично. Люди на работе говорят одно, а думают другое. Подписывают документы, в которые не верят. Хвалят начальство, которое презирают. Поздравляют друг друга с праздниками, которых не отмечают. Улыбаются тем, кого ненавидят. Эта двойная жизнь, этот разрыв между публичным поведением и приватными мыслями становится настолько привычным, что люди перестают его замечать. Они начинают воспринимать его как норму, как естественное состояние человеческого существования, в котором искренность является не достоинством, а опасной роскошью — позволительной лишь наивным или безответственным.

Но культура лицемерия не ограничивается сферой публичных выступлений и официальных отношений. Она проникает в самые интимные сферы человеческой жизни: в семью, в дружбу, в любовь. Когда человек привыкает лгать на работе и в политике, он начинает лгать и дома. Ложь становится его второй натурой, способом существования в мире, где правда слишком опасна и слишком дорого стоит. Он перестаёт доверять близким: нельзя быть уверенным, что они не донесут, не предадут, не используют его слова против

него. Эта подозрительность разрушает те самые связи, которые дают человеку силу и поддержку в трудные времена. Дети, растущие в такой атмосфере, учатся лгать так же естественно, как учатся говорить. Для них ложь становится не моральной проблемой, а практическим навыком, необходимым для выживания в мире, где правда всегда наказывается, а ложь всегда вознаграждается — если она умело подана и служит интересам тех, кто находится у власти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.